

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л



РОМАН №12 2017 ГАЗЕТА

«Здесь раньше простиралось Беловодье...»

90
лет



Алтайскому краю – 80 лет!

ШИШКОВ Вячеслав Яковлевич

(1873–1945)

Выдающийся русский писатель. Родился в городе Бежецке Тверской губернии. После окончания училища кондукторов путей сообщения в 1894 г. прибыл на службу в Томск. Участвовал в геодезических экспедициях. Обследовал Енисей, Иртыш, Обь, Чарыш и другие сибирские реки. На Алтае впервые побывал в 1909 г. В 1913–1914 годах возглавлял геологическую экспедицию, работавшую по изысканию оптимального варианта Чуйского тракта.

Главная тема творчества — настоящее и прошлое Сибири, величие её природы, своеобразие образа жизни и характера сибиряков. Автор сборника «Шутейные рассказы», цикла очерков «По Чуйскому тракту» (1913), «Чуйские были» (1914), повестей «Пейпус-озеро», «Ватага», «Странники», романов «Угрюм-река», «Емельян Пугачев» и др.

ГРЕБЕНЩИКОВ Георгий Дмитриевич

(1883/1884–1964)

Родился в селе Николаевский рудник Бийского округа Томской губернии в семье горнорабочего. Постоянно литературным трудом Г. Д. Гребенщиков занялся с 1907 г., сотрудничал со многими сибирскими изданиями. Опубликовал цикл очерков «По горам Алтая», сборник повестей и рассказов «В просторах Сибири».

Наиболее значительный этап биографии Г. Д. Гребенщикова (до 1916 года) связан с Алтаем, где он был редактором газеты «Жизнь Алтая», предпринимал этнографические исследования жизни и быта алтайских раскольников, способствовал объединению литературных сил провинции, много и плодотворно работал как писатель.

В 1920 году эмигрировал во Францию, затем переехал в США, стал доктором филологии, профессором одного из американских колледжей. Гребенщиков — автор более ста романов, новелл, рассказов, драматических произведений.

ШУКШИН Василий Макарович

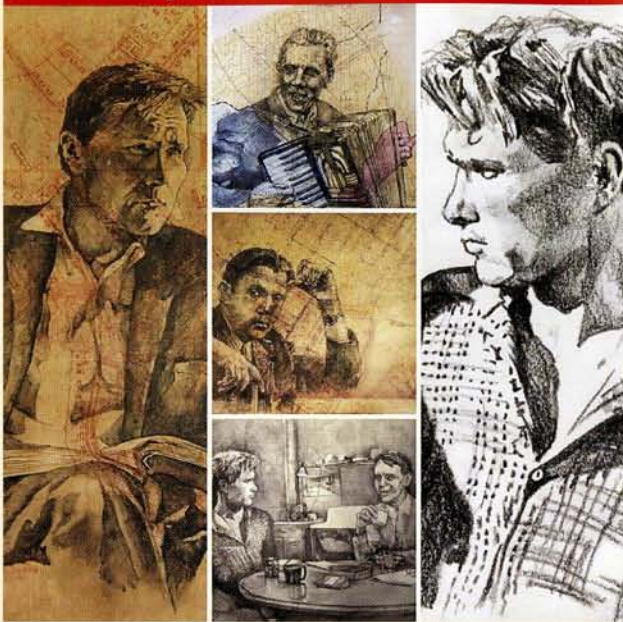
(1929–1974)

Выдающийся писатель, кинорежиссер, сценарист, актер. Родился в селе Сростки Алтайского края. Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. Член Союза писателей СССР (1965).

Автор сборников «Сельские жители» (1963), «Там, вдали» (1968), «Земляки» (1970), «Характеры» (1973), «Беседы при ясной луне» (1974); романов «Любавины» (1965, 1987), «Я пришел дать вам волю» (1971); повестей, киноповестей и др. Снял фильмы: «Живет такой парень», «Печки-лавочки», «Калина красная» и др. Создал целую галерею образов русского человека, со знанием его психологии, пониманием его души, уникальным умением создавать образ несколькими штрихами, репликами, действиями.

Жизнь и творчество В. М. Шукшина неразрывно связаны с малой родиной. Алтай служил источником его вдохновения, природа и люди, населяющие край, узнаваемы в большинстве созданных им произведений.

Они прославили Алтай



Коллаж Ивана Быкова

ГУЦИН Евгений Геннадьевич

(1936–2005)

Родился в г. Керки Туркменской ССР. Детство прошло на Алтае в селе Ая и городе Бийске. Окончил Алма-Атинский педагогический институт, затем Высшие литературные курсы СП СССР в Москве. Работал сотрудником газеты «Молодежь Алтая», был ответственным секретарем Алтайской краевой писательской организации. Член Союза писателей СССР (1973).

Широкую известность на Алтае и за его пределами принесли романы «Правая сторона», «Ведьмин круг», повести «Облава», «По сходной цене», «Храм спасения» и др. Книжки Е. Гуцина издавались на Алтае, в Новосибирске, Москве, за рубежом. Удостоен премии журнала «Наш современник», звания лауреата премии ВЦСПС и Союза писателей России за лучшее произведение о колхозном крестьянстве. За роман «Ведьмин круг» получил премию Демидовского фонда.

Дважды лауреат краевой премии имени В. М. Шукшина (1991, 1995). Лауреат премии Алтайского края за повести «Облава», «Пришедшая из тьмы» (1998). Награжден медалью Петровской академии наук и искусств «За развитие литературы на Алтае» (2000), в 2004 году — премией им. Г. Егорова.

ЕГОРОВ Георгий Васильевич

(1923–1992)

Родился в селе Тюменцево Алтайского края. Участник Великой Отечественной войны. Работал в краевом радиокомитете, в газете «Алтайская правда». Принимал активное участие в жизни Алтайской краевой писательской организации. С 1968 по 1988 год был уполномоченным Литературно-го фонда СССР по Алтайскому краю.

Окончание см. на 3 стр. обложки.



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор
Юрий Козлов

Редакционная коллегия:

Дмитрий Белюкин
Юрий Бондарев
Семен Борзунов
Алексей Варламов
Анатолий Заболоцкий
Юрий Коннов
Владимир Личутин
Юрий Поляков

Ответственный редактор
Елена Русакова

В оформлении использованы фрагменты картин Фёдора Торхова

Права на использование товарного знака «Роман-газета» принадлежат ООО «Роман-газета»
© ООО «Роман-газета», 2017
Все права защищены

Подписаться на журнал «Роман-газета» можно в отделениях связи и через Интернет:
www.gazety.ru

Подписные индексы издания:

в каталоге агентства «Роспечать»

70782 на полугодие;

71752 на год;

в объединенном каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге

«Почта России»

П1526 на полугодие

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции

2017 №12 /1784/ Основана в 1927 г.

«Здесь раньше простиралось Беловодье...»*

К 80-летию Алтайского края

Литературное золото Алтая: история в лицах

Алтайский край обладает уникальным культурным наследием. Наша земля стала родиной великих писателей, завоевавших всенародную любовь и признание. Здесь создавались произведения, вошедшие в книгу славы отечественной литературы. В регионе умеют хранить и приумножать это достояние, приобщать к нему читательскую аудиторию.¹

С давних пор Сибирь привлекала внимание путешественников, ученых, исследователей, историков, которые в своих очерках, зарисовках и путевых записках создавали яркую картину, описывающую Алтай.

Так, в середине XIX века Алтай переживал пору активного развития Колываново-Воскресенского горного округа, зарождения горно-металлургической промышленности. Этот сюжет обрел литературное воплощение в романах Леонида Петровича Блюммера и Ивана Афанасьевича Куцевского. Развитие промышленности стало отправной точкой и в творчестве ученого, этнографа и фольклориста Степана Ивановича Гуляева: вдохновленный Алтаем, он создал серию художественно-публицистических зарисовок «Алтайские каменщики», «Колыван и Колывань», «Механик Ползунов». Именно ему история отвела честь быть первым, кто собрал полновесную коллекцию народного эпоса, былин и песен, посвященных жизни русского человека на Алтае.

В этот же период в Сибири проходили многопрофильные исследования природных богатств и рельефов. Благодаря этому движению Вячеслав Яковлевич Шишков побывал на Алтае, где и начался его творческий путь. Он принимал участие в геологических экспедициях и обследовании водных путей на алтайских реках Чарыше и Бии, стремился найти оптимальный вариант для проложения Чуйского тракта и описал свое видение Алтая в цикле рассказов «Чуйские были» и «Алые сугробы», в повести «Страшный кам» и романе «Ватага».

Впечатления о природе края легли в основу произведения «На Алтае: записки городского головы» писателя, горного инженера, городского головы Бар-

* Из стихотворения Владимира Коржова.

наула Александра Александровича Черкасова. Его записки наполнены любовью к Сибирскому краю, современники ставили его творчество в один ряд с произведениями Сергея Тимофеевича Аксакова.

Большое значение для культурного расцвета Алтайского горного округа имела деятельность Николая Михайловича Ядринцева. Его художественное творчество представлено публицистикой, рассказами, повестями и стихами, художественно-этнографическими очерками «Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении», «Сибирские инородцы, их быт и современное положение» и «Сибирская Швейцария». Произведения, посвященные живописному краю Томской губернии, отличаются не только точность и глубина наблюдений, но и лиричность.

Веления истории связали с Алтаем судьбы многих писателей России. Например, Барнаул оказался на пути ссыльного Федора Михайловича Достоевского. Именно здесь в 1857 году впервые прозвучали строки «Записок из Мертвого дома», которые автор читал, будучи в гостях у русского путешественника Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского. Существует гипотеза, что именно в Барнауле у Достоевского родился замысел повести «Дядюшкин сон».

Начало XX века ознаменовало новый виток развития алтайской литературы, которая, как и прежде, являлась зеркалом жизни региона и страны. Так, сюжеты местным авторам диктовали Русско-японская война, Первая мировая война, Октябрьская революция и Гражданская война. Сложные вехи отечественной истории вели по творческому пути Георгия Дмитриевича Гребенщикова, который был редактором ежедневной общественно-политической и литературной газеты «Жизнь Алтая». Это издание с 1911 по 1918 год объединяло лучшие литературные силы региона и стало площадкой для реализации творческого потенциала таких авторов, как Владимир Матвеевич Бахметьев, Александр Степанович Питаровский, Степан Ильич Исаков. Сам Г. Д. Гребенщиков, кроме редакторской работы, проводил много этнографических исследований жизни и быта алтайских старообрядцев, способствовал объединению литературных сил провинции, много и плодотворно трудился как писатель.

Огромную роль в начале XX века в развитии литературного процесса региона играли педагоги-просветители, работавшие на селе. Среди них значительной фигурой был Александр Ефремович Новосёлов, трудившийся в сельских школах. Имя Адриана Митрофановича Топорова легендарно на Алтае: учитель, просветитель, писатель

и публицист, которого Герман Степанович Титов, второй космонавт планеты, называл своим «духовным дедом». Он организовал уникальные читки художественной литературы в коммуне «Майское утро» Косихинского района. Со временем накопленный материал был систематизирован в книге «Крестьяне о писателях», которая вышла в свет в 1930 году.

После Великой Отечественной войны в крае наступил новый этап литературной жизни, ознаменованный началом творчества писателей-фронтовиков: Николая Григорьевича Дворцова, Петра Антоновича Бородинки, Георгия Васильевича Егорова, Марка Иосифовича Юдалевича и других.

В последующие годы имена многих отечественных поэтов и писателей, родившихся на благодатной алтайской земле, стали известны далеко за пределами края. Среди них Роберт Иванович Рождественский, Василий Макарович Шукшин. С целью увековечения их памяти на территории региона ежегодно проходит более 20 литературных чтений. Несомненно, самыми популярными являются Шукшинские, Рождественские, Мерзликинские, Гушчинские.

Алтайский край ведет активную издательскую деятельность. С 2009 года проводится краевой конкурс на издание литературных произведений. Один раз в два года выходят в печать книги лауреатов Шукшинской литературной премии, а также литературной премии имени Роберта Ивановича Рождественского. В регионе реализуется издательский план, рассчитанный на 5 лет, в рамках которого изданы Собрание сочинений В. М. Шукшина в 8 и 9 томах, антология «Образ Алтая в русской литературе» в 5 томах, Собрание сочинений Г. Д. Гребенщикова в 6 томах, Сочинения В. С. Золотухина в 2 томах.

В 2015 году стартовал новый печатный проект, посвященный выдающимся личностям Алтайского края, внесшим значительный вклад в российскую историю и культуру, — «Алтай. Судьба. Эпоха». В рамках этого проекта уже вышли книги об Алексее Скурлатове, Германе Титове, Михаиле Калашникове, Митрополите Макарии Невском, Валерии Золотухине, Василии Шукшине, Иване Пырьеве.

В данный специальный выпуск журнала вошли произведения как известных алтайских авторов XIX–XX веков, так и современных молодых литераторов.

А. Б. КАРЛИН,
губернатор,

Председатель Правительства
Алтайского края

Георгий Гребенщиков

(1883/1884–1964)

В детстве

I

Мне шел тогда двенадцатый год. Я учился в третьем отделении сельской школы, но не знал, что родина моя называется Алтаем. Правда, маленькое, убогонькое горнозаводское село, в котором я родился, находится не на самом Алтае, а затеряно в мелких сопках у его предгорий, почти там, где буйная Уба выходит на равнину и течет спокойнее. Когда случилось мне бывать на вершине соседней Слюзуновой сопки, я видел, что на восток, синяя и подпирая облака, далеко уходят горы, а на них виднеются небольшие белые пятнышки. Мне сказывали, что это Риддерские «белки», что до них верст полтора и что оттуда пришла наша Уба, по которой часто летом сплавлялись мужиками пахучие пихтовые плоты.

Не помню, чтобы горы меня к себе манили, скорее наоборот, они пугали меня своими серо-сизыми причудливыми формами, глубокими и черными морщинами и какими-то взъерошенными, лохматыми верхушками.

Бывало, под вечер, когда тени падали к востоку, а западные склоны гор были хорошо освещены, мне явственно казалось, что то не горы, а давным-давно уснувшие окаменелые богатыри. Они лежали как попало, кто на боку, кто на спине, и лица их были хмуры и суровы, с наморщенными лбами, с растрепанными бородами и почти все курносы. Я с ужасом от них отвертывался к югу, где виднелись едва взволнованные степи, по которым спокойно протекал Иртыш.

Однако с нашей пашни, лежавшей на увале, склоненном на восток, я снова невольно видел горы. В знойный день в страду, когда колосья хлеба крючились, шуршали и больно били по руке, мне почему-то нравилось смотреть туда, откуда шла Уба. Голубою лентой, небрежно брошенной в лугах, она лежала, протянувшись от Шемонаевских увалов и до Цельковой сопки, которая казалась мне громадным серым змеем, подползавшим к Убе пить. Мне было даже боязно, что этот змей выпьет всю Убу, а между тем мне самому так хотелось пить, купаться и рыбачить. Но Уба была далеко, нужно было ждать, и я с тоской склонялся к хлебу и стриг его, пока не заболит спина. Когда же становилось невтерпеж, я снова разгибался, через плечо концом серпа чесал поясницу и снова глядел в горы. И всегда перед глазами четко выступала Мохнатуха, огромная скалистая гора за Шемонаихой. Она перегораживала путь к востоку и, черная, совсем отменная от ближних серых сопек,

лежала как уснувший богатырь, головой к юго-востоку, ногами к северо-западу, а огромным брюхом упираясь в небо. Эта же гора, казалось, перепруживала реку Убу, и, когда по Убе плыли из лесов плоты, они как будто выныривали из-под Мохнатухи.

Плоты обыкновенно встречались с большим энтузиазмом. Жены и дети сплавщиков выезжали на берег Убы с самоварами, мягкими калачами, с водкой и домашними закусками. Подплывая к родному берегу, сплавщики украшали свои плоты флагами из цветных рубаш или штанов, по которым бабы должны были узнавать своих мужей.

Сплавщики леса ходили в горы в верховья реки Убы, верст за двести, и жили по месяцу и больше, питаясь сухарями и соленым или вяленным мясом. Там они не видели ни баб, ни детей, ни домашних животных и ничего не знали и не слыхали о доме, как и в доме о них. Поэтому прибытие их к родным берегам было особенно торжественным.

О дне прибытия плотов узнавали в селе или деревне от «коногонов», которые пригоняли из леса рабочих лошадей дня за два, за три раньше прибытия плотов. А сплавщики так хорошо знали реку, что угадывали почти час прибытия, если не случалось каких-либо несчастий, ветра или задержек лесной стражей, бравшей, впрочем, всегда не особенно большие взятки.

Мужики в леса ходили большими артелями, человек до сорока, и каждый брал по лошади. Лошадей, по миновании надобности, из лесов не решались плавить по буйной реке на плотах, а поручали нескольким мальчуганам, которые и гнали их целым табуном. Я лично к таким конононам проникался всегда особенным почтением. Они казались мне смельчаками, отважно проезжавшими по глухим лесам сотни верст.

Когда мой отец задумал вместо старой, полугнившей избы строить новую и нашел себе на плот товарища, то он решил оторвать меня из школы и взять с собою «конононом»...

Для меня это было поразительно приятной и в то же время жуткой новостью, и, как я ни любил свое ученье, я решил бросить его и идти с отцом в леса, в те горы, которые казались с нашей пашни цепью сизых и причудливых облаков, подложенных под край неба для того, чтобы оно не давило своей синей сталью матушки-земли...

II

Мы выехали в первых числах мая ранним ясным утром. Всего из села пошло семнадцать лошадей, впряженных в двухколесные самодельные таратайки с припасами и всем необходимым. Все запряженные лошади были оседланы и имели по седоку. Даже нам, мальчуганам, было дано каждому по лошади и по таратайке, за которыми мы должны были хозяйственно досматривать.

В грубых «изгребных» рубахах и штанах, в сермягах, в кошемных шапках, мы глядели мужиками и, сурово морща лбы, покрикивали на горячившихся спервоначалу лошадей.

Через девять верст наш путь перегородила синяя, красивая Уба, и на пароме мы переправились на правый ее берег в большое волостное село Шемонаиху, где живут крестьяне-«поляки», совсем не похожие на нас, горнозаводских «битых» мужиков. Этих «поляков»-полубаяр, живших от нас всего лишь в девяти верстах, я увидел впервые и дивился их расшитым разными узорами одеждам, громким голосам и высоким домикам, похожим на терема — с расписными окнами и крутыми, на два ската, крышами.

— Эй, парнишка, ось-то в колесе!.. — кричит мне шустрый белокурый сверстник в ярко-цветной рубахе и хохочет вслед, видя, что я беспокоюно осматриваю свою ось...

Другой, побольше, паренек с черными губами, намазанными дегтем для того, чтобы они не трескались на солнце, кричит мне вслед:

— Эх, ты, бестолковый бергаленок!¹ — и запускает в мою таратайку камнем.

Пока едем по узкой улице села, набралось довольно впечатлений... Бабы в ярких сарафанах с расписными ведрами, решетчатые крылечки, бойкие пшеничные ребята, длиннокосые девицы, крупные и седобородые старики на завалинках и даже запах от свежееиспеченного хлеба и жирных мясных шей — все это мне говорило о том, что здесь живут совсем другие люди, сытые, богатые, свободные... Мне и завидно было, и боялся я их, и хотелось разглядеть их хорошенько, пожить у них, поесть досыта вкусных шей и белых мягких шанег, какие на жестяном листе пронесла мимо нас баба, должно быть, для раздачи «милостинки за упокой родителей»...

Но вот кончается село, и мы выезжаем на гладкую дресвяную дорогу, постепенно поднимаясь к первым, пока еще невысоким и зеленым горам. Мохнатуха теперь совсем близко, и вид у нее другой: она напоминает грандиозный скирд, небрежно сложенный из серых и растрепанных снопов... Мы едем на северо-восток, Мохнатуха остается в правой руке.

Бергалы — мужики веселые, беспечные. Они громко перебрасываются между собою крылатыми словами, а Осип Жеребцов, товарищ моего отца по плоту, все время щилованит² над Тютюбайкой, маленьким, но пожилым киргизом без усов и бороды.

Тютюбайка плохо говорит по-русски, но разговорчив и шутлив, и мы с Андрюхой Фирсовым, мо-

им ровесником, все время фыркаем над исковерканными Тютюбайкой русскими словами. Это нас с Андрюхой скорей знакомит и сближает... Вскоре мы устраиваем наших лошадей одну за другою и начинаем изредка кое о чем друг друга спрашивать.

Мы оба толстомордые и крепкие, но у Андрюхи круглое лицо и нос с горбинкой, а меня старший брат ругает дома курносый и часто грозит выдергать из головы мой лён. Выходит, мы совсем не одинаковы, но все-таки скалим зубы и изредка придумываем, что бы такое друг другу сказать приятное...

— У тебя топор есть? — задает вопрос Андрюха.

— Нет, — отвечаю я.

— А у меня есть, маленький... Тятя мне изладил... Мы удилишей там в лесу себе нарубим, — обещает Андрюха, и мне становится совсем приятной его веселая усмешка.

Между тем мы поднялись на плоскогорье и едем среди сочных, жирных трав и пашен. Семнадцать таратаек узловатой серой цепью продвигаются вперед по зеленой, с глубокими колеями и пышными грядами дороге, поскрипывают, ныряют в выбоинах, вязнут в небольших болотцах и ключах.

День яркий, тихий, солнечно-зеленый. Кругом цветы, целые площади цветов: полоса желтых, полоса синих, полоса розовых. Это на давно не паханных, отдыхающих полосах пашен цветут горчица, синяк и кипрей. На какой полосе какой цветок засеялся, в тот и окрасилась вся полоса. И кажется, что среди пашен и зеленых трав разостланы огромные праздничные девичьи платки... Пахнет жимолостью и черемухой, кусты которой как в снегу, щебечут ласточки, и заливается, невидимо поет вверху жаворонок...

Мы с Андрюхой достали из мешков по куску еще сегодняшнего калача и весело жуем, пачкая в муке носы и губы. Но сколько ни съедаем — насытиться не можем, и буйно радуемся, когда большие мужики, спустившись к первой светлой речке, начинают распрягать лошадей и разводить костер для варки вяленого мяса. Мы с Тютюбайкой и Андрюхой хлопотливо собираем хворост, барахтаемся в ивняке и говорим уже без умолку пискливыми и ласковыми голосами... А когда подходим к костерку, отец Андрюхи, высокий и черномазый Григорий, схватывает нас обоих в беремя и, упавши наземь, перебрасывает через себя в зеленую траву... А потом кричит:

— А ну-ка, поборись, ребята! Кто кого?

Андрюха ту же подтягивает опояску и наступает на меня... Мне стыдно отступить, и я принимаю вызов, но быстро при общем крике падаю на обе лопатки под тяжелым, точно из кирпичей сбитым Андрюхой... Я немножко сержусь на него, завидую его силе и кричу сквозь наворачнувшиеся слезы:

— А зато он неграмотный!..

Андрюха улыбается. Видно, что это для него не важно, но меня это равняет с ним, и наша дружба

¹ Бергал — искаженное немецкое бергайер, т. е. горнорабочий. Занесено это слово в наши края многочисленными горнозаводскими чиновниками немецкого происхождения. (Прим. Г. Д. Гребенщикова.)

² Щилованит — добродушно насмехается. (Прим. Г. Д. Гребенщикова.)

снова крепнет и растет... На ночлег мы улеглись рядом и долго, не смыкая глаз, глядим в усеянную звездами, непостижимую глубь неба.

Назавтра утром мы проехали мимо Кобановой, небольшой старинной деревеньки, прижавшейся к огромной тополевой роще. За ней на косогоре забелел тесовыми крышами казачий поселок Плоский Маяк. За ним холмистое плоскогорье быстро перешло в широко раскинувшиеся синеющие горы. А за селом Ново-Алейским, в котором вброд мы переехали Алей, начались леса.

И вдруг переменялось все, когда мы въехали по узенькой дороге в тенистый и темно-зеленый пихтовый лес. Еще раз-два мелькнули позади в просветах между деревьями зеленые холмы, широкие поля с цветистыми квадратами полос, лиловый прииртышский горизонт на юго-западе, но скоро все загородил собою лес, какой-то сумрачно-прохладный, с гремучими и частыми ручьями, с оврагами, с раскатистым певучим эхом.

Я как-то скоро потерял восток и запад, и мне показалось, что мы давно повернули назад и скоро выедем опять на раздолье полей. Но вместо того все прихотливее вилась дорога, все чаще падала в овраги и ручьи и вскидывалась на крутые косогоры.

То и дело я глядел по сторонам, заворачивал голову вверх на остроконечные макушки пихт, на осиновые и березовые колки, прилепленные где-нибудь на крутом склоне горы, и чувствовал, что я — не я и все на свете изменилось, стало новым, непонятным и чужим. Но все это чужое так красиво и занятно, что я не говорил ни с Тютюбайкой, ни с Андрюхой, ни с отцом, а только глядел по сторонам и впитывал в себя душой и телом и глазами все, что видел, слышал и понимал...

III

Ночевали мы в какой-то маленькой лесной избушке. Она была покрыта берестой и глядела на дорогу двумя — одним маленьким, а другим побольше — окошками и казалась мне хитрой, прищурившей один глаз черной старушонкой.

Утром, на восходе солнца, мы снова сидели уже в седлах и ехали дальше.

Дорога стала чаще падать в крутые овраги и взбираться на высокие кручи. Местами мы переезжали такие светлые и бойкие ручьи, что мне они казались веселыми-веселыми, как милые господские детишки, каких мне пришлось видеть только раз: какой-то доктор проезжал с ними через наше село.

Смотря на ручейки и слушая их беззаботный говорок, я впервые фантазировал о том, что где-то далеко, в каких-то, должно быть, голубых или светло-розовых краях, живут совсем другие люди и что там все другое: и дома, и разговор, и одежды, и самые люди не такие сердитые, как мы, а веселые и добрые, с улыбками на лицах, с ласковыми голосами...

И удивительно желанными были для меня эти первые часы моих раздумий. Я так много, хорошо и складно думал, что совсем не слышал окриков Андрюхи, шуток Осипа, смешных слов Тютюбайки. О чем были мои думы — я теперь не помню, но помню хорошо, что были они какие-то многоцветные, как дуга-радуга, и радостные, как пасхальное яичко. Быть может, это потому, что впервые в жизни я так близко подошел к природе гор, быть может, лес и ручейки и голубые речки напевали мне про неизведанные радости, нашептывали о непостижимых тайнах Бога. И душа моя направляла свой полет за грань видимого мира. Мне хотелось сделать или сказать что-либо возвышенное, яркое, что сразу бы остановило моих спутников и заставило бы их благоговейно скинуть шапки и набожно перекреститься в ту сторону, в которую я укажу... Мне не казались эти мысли дерзкими, напротив — я был убежден, что в шепоте природы и лепете ручьев я слышу то, что мои спутники не могут слышать... Мы поднимались все выше по горам, и узкая дорога прихотливо извивалась между толстых пихт, больших, покрытых мхами камней, цеплялась за крутоярья речек.

С полудня вдруг небо помутнело, и в лесу стало темнее. Дальние вершины гор нахмурились. Где-то далеко и зычно зарокотал гром. Примолкли шулки мужиков. Стал сеять мелкий дождик из окутавшего нас тумана. Я не знал, куда я еду, качался на седле и уже не думал ни о чем, но чувствовал, что вот сейчас свалится бы с седла, юркнул под ствол пихты или березы и сладко бы уснул... Но тут же вспоминал, что в лесу живет медведь, что он почует запах человека, придет ко мне, сонному, и станет... «Что станет? — вдруг спрашивал я себя. — Сначала нюхать, потом возьмет когтями за лицо...» — с жутким чувством отвечал я мысленно и ехал дальше, борясь с усталою дремотой.

Так ехали мы весь остаток дня и темным вечером где-то под деревьями, на косогоре, под непотихавшим ливнем распрягли коней, поели всухомятку зачерствевших калачей, и я под мокрой от дождя кошмкой сладко, непробудно спал до самого утра на пахучих хвойных ветках пихты. А утром снова в путь, снова подниматься и спускаться по горам, снова думать в солнечные, яркие часы и устало дремать в часы холодной, быстро проходящей непогоды.

На пятый день езды еще с утра мужики заговорили о Приторе... Что это был за Притор — я еще не знал и жадно вслушивался в рассказы о случаях, когда с Притора падали в Убу лошади и таратайки... Я чувствовал, что о Приторе говорят недаром, что нам придется проезжать его, и мне было и жутко, и любопытно. Хотелось скорее увидеть, что это за Притор такой... И вот после полудня впереди открылась перед нами широкая, дымчато-голубоватая долина. Мы выезжали к Убе и должны были теперь пробираться дальше ее берегом.

Этот-то берег и носил название Притора.

Мы как-то вдруг, почти внезапно очутились на берегу Убы. Она синей пеленою извивалась глубоко внизу между высоких каменистых берегов, и шумный говор белогривых волн ее мешал мне слышать спор мужиков, остановившихся перед высоким и крутым подъемом.

— Да где же в экую грязь подняться с таратайкой? — пробегая мимо меня, кричал отец Андриюхи. — Мы в добрую-то погоду и то, бывало, распрягали всегда да на себе припасы таскали...

А мой отец уже распрягал свою лошадь и мне велел сходить с моего Рыжка.

И вот началась не слыханная и не виданная мною маета. На распряженных лошадей в седла клали мешки с сухарями, навьючивали колеса таратаек и в поводу вели их на высокую крутую гору — у самого края пропасти, прорытой Убою.

Ведя в поводу своего старого, сухого и ленивого Рыжку, я едва-едва карабкался на Притор, цепляясь руками за вязкую, грязную и в то же время каменистую дорогу. По временам тяжело дышавший Рыжка наступал мне на запятки больших мужицких бродней, а вправо, в пропасть, я боялся и взглянуть: там под самыми ногами бушевала быстрая река и манила в свои объятия кружившуюся голову...

Долго поднимались мы. Много раз, обессиленные, с больно колотившимися сердцами, припадали к грязным камням, чтобы перевести дух и снова подниматься выше и вперед. Когда поднялись с первыми вьюками, солнце опустилось за леса, а с юга надвигалась новая дождевая туча. Но мы должны были спешить, так как надо было еще не раз спускаться вниз за новыми вьюками и собирать разоренные таратайки и припасы... Некоторые мужики тащили на себе пустые кузовки таратаек, другие на веревках тягивали вверх колеса, третьи били худых, измучившихся лошадей, которые не могли подняться на Притор...

Почти всю ночь над страшной пропастью держались ругань и проклятья мужиков, спешивших подняться на высоту и скорее собрать в кучу от усилившегося дождя и без того промокшие сухари и верхнюю одежду... Вдосталь мы с Андриюхой наплакались в ту ночь... Но больше нас поплакал Тютюбайка, которого озлобленный хозяин принимался бить раз пять и все грозил столкнуть в Убу с Притора. Я верил этой отчаянной угрозе. Мне становилось жутко, собственное горе умолкало, и я молился Богу о том, чтобы обозлившийся мужик и вправду не столкнул Тютюбайку, ставшего для нас с Андриюхой таким родным и близким. Но кончилась мучительная ночь, а с ней окончилось и ненастье. Будто небо выплакало над мученьем нашим все слезы и улыбнулось ласковой зарею утра нашему запоздалому отдыху у закопченных котелков со скромной пищей...

IV

На седьмой день утром узкая дорожка с крутого головокружительного карниза горы наконец оборвалась на небольшой лужок и потерялась в голубой, бурливой воде Убы.

На противоположной стороне реки возвышались крутые горы, покрытые лесом. Горы эти назывались Рёбра. У этих-то Рёбер под Верхним порогом мы и должны были остановиться для рубки леса.

Началась переправа через Убу, опасная, мучительная. На утлую долбленную лодчонку погружали сухари, таратайки, седла, и мужики с шестами вместо весел бросались в зыбкие волны, которые подхватывали лодчонку и отбрасывали, как щепку, далеко вниз. Но мужики, стоя на лодке, с отчаянной отважностью толкались и греблись шестами, растопыривали руки, чтобы не потерять равновесия и, поймавшись за берег, выкладывали груз, заводили лодку вверх и снова со смехом и песнями перекидывались к нам за новым грузом.

Так переправлялись мы с утра до вечера — целый день. А под вечер, почти в потемках, стали переплавлять лошадей. Их загнали в воду и начали швырять в них камни, палки, жерди, пока они не бросились через бушующую реку вплавь. Волны скрыли под собой их крупы, и на зыбкой поверхности воды рассеялись лишь мокрые лошадиные головы с красивыми испуганными глазами и фыркающими, широко открытыми ноздрями. Некоторые, что посытее, быстро выплыли на берег и, пошатываясь, стряхивали с себя воду, а тех, что послабее, снесло течением далеко вниз по реке. Внизу — яр, и лошади бросились обратно, а некоторые заплыли на островок, и их нельзя было никак согнать оттуда...

Только в полночь мокрые, измученные мужики стали сушиться и отогреваться у костра.

Назавтра утром мы подались лугами еще верст на пять вверх по реке и тут, у самого бушующего и кипящего Верхнего порога, разбили стан. Выше ехать было некуда: туда наш путь перегораживала огромная каменистая гора Порожная, а с нее смотрел на нас исполинский Каменный медведь...

Здесь прожили мы больше месяца.

Совсем особенной, полузвериной жизнью жили мы в лесу, и вместе с тем нигде так дорог и любезен не казался человек, как здесь. Не говоря о нашей крепкой дружбе с Тютюбайкой и Андриюхой, я видел теплую и ласковую дружбу между собой у мужиков. Во всем пытались они друг другу услужить, помочь, делились припасами, одолжали вещи и совсем не расставались с шутками, веселым смехом и... добродушной руганью, от которой огрубелые в тяжелой жизни языки никак не могли отвыкнуть.

В короткую ночь после тяжелого труда сидят, бывало, у костра и рассказывают сказки, смешные слу-

чай, все пересыпая крупной солью, прибаутками, цветистыми словами старой русской речи, и никогда ни от кого не слышал я ни слова жалобы на горькую судьбу, на нужду или заботы... Да и казалось все это естественным, быть может, потому, что и сам ходил в занозах и царапинах, а холщовые чембары от пихтовой серы стали тверды, как кедровая кора. Льянные волосы на голове отросли и тоже слиплись от пихтовой серы, стояли торчками, как у дикаря, и никак нельзя было промыть их в чистой и холодной убинской воде, из которой я не раз с душевным трепетом вытягивал серебряных, больших и жирных хариусов.

Мужики с утра ходили на Рёбра и оттуда с гулким криком целый день пускали осоченные, освобожденные от коры лесины, которые, как стрелы, летели под гору, расчесывая и приминая высокую траву, втыкались в старые колоды, переламывали молодые деревья, а изредка пролетали и в Убу, которая быстро уносила их на плесо, где все время сторожил их кто-нибудь на лодке. Такой пущенной с высоты лесиной одному из неповоротливых наших парней, Алексею Кулакову, переломило ногу. Другой лесиной наповал убита была лошадь, а третья промчалась с угрозой смерти над головой Андриюхи, когда мы с его топориком шатались под горой в поисках длинных и гладких удилиц.

Рубка производилась три недели, а две недели были заняты подвозкой леса к плотбищу. В подвозке приняли участие и мы с Андриюхой. С звонкими песнями мы ездили на лошадях, запряженных в волоки, по тенистой кривой дорожке к подножию Рёбер и возили оттуда смолистые и гладкие деревья.

При возке леса на одном из косогоров я не сумел направить свою лошадь так, чтобы лесина попала между пней. Лесина взыграла с косогора вниз, а за собой удернула и опрокинула моего Рыжку на пышный и густой кустарник... Меня спасли мои крепкие холщовые чембары, которыми я зацепился и повис на черемуховом дереве и не попал под лошадь.

Конец моего пребывания в лесу ознаменовался еще и тем, что я потерялся... Ушел я под вечер искать все тех же гладких, длинных удилиц и заблудился. Меня подвел стук дятла. Я думал, что поблизости кто-то рубит лес. Пошел на стук в одну, потом в другую сторону. Потом солнце зашло за тучу, я потерял Убу и зашел в какую-то трушобу... Испугался и с отчаянным криком побежал куда попало. Спустились сумерки, а я все бежал и осипшим голосом кричал без памяти. Было уже темно, когда я наконец услышал звон ботала и натолкнулся на чужого мужика. Оказался шемонаевский крестьянин. Он взял меня и увез к себе на стан. Там долго надо мной смеялись ребятишки, однако накормили меня щами и уложили в балаган. Назавтра на заре я услышал голос отца... Разыскивая меня, он верхом на Рыжке проплутал всю ночь по лесу...

У

Но вот окончилась подвозка леса. Начали плотить. С утра до вечера бродили мужики в холодной ледниковой воде и, синие, продрогшие, долго вечерами отогревались у костра... Приблизилась отправка коногонов — Андриюхи, Тютюбайки и меня. Дня за два стали нам наказывать, как ехать, чтоб не заблудиться, где ночевать и что в поклоне сказывать домашним.

— Да не пугайте мать-то мою! — просил Алексей Кулаков, нога которого уже загнила и почернела. — Скажите: жив, здоров. Зашиб, мол, немного ногу, больше ничего...

И мужик, хозяин убитой лошади, просил:

— Скажите: обезножела Карюха!.. На плоту, мол, приплавит... А то бабенка испечалится... Всего две лошади осталось...

Наступил день нашего отбытия. С отдохнувших на хорошей траве лошадей снимали узды и путы, покрепче подвязали шаркунцы и ботала, оседлали нам три лошади, снабдили сухарями и приготовились переправлять за реку...

Помню как сейчас: в это самое время у берега возле плотов в легкой лодке на шесте шел вверх по Убе, против течения, в белом холщовом балахоне с красной оторочкою бородастый большой мужик.

Это был Викул Авдеич, богатый старOVER. За порогом у него заимка, пасека и скот.

— Табашников терпеть не может! — сказал Григорий. — А всякий раз, бывало, как пойдешь в праздник — нарежет меду, сметаны наладет нам в котелки. Мужик добрецкий.

Шест покрякивал в руках у Викула, стучал о гальку, а лодка так и вскидывалась против сильных белопенных волн и шла настойчиво против течения.

— Здорово были, старички! — певуче бросил он на берег. Мужики хором ответили:

— Викулу Авдеичу доброго здоровья!

Отец, привязывая к седлу на спину лошади мою сермяжку, наказывал:

— Как переплывешь, — сермяжку-то отвяжи да высуши, а то ночью-то замерзнешь в мокрой.

Лодки не было: унесло водой, и мы должны были переплывать Убу на лошадях верхами.

— Как заартачится Гнедко-то, — наказывал мне Осип, — ты ноги-то из стремён выбрось.

— Да за гриву, сынок, крепче держись, — наказывал отец.

Наш Рыжка, самый старый, много раз ходивший в лес, был пущен передовиком. Он чуял, что возвращается домой, и потому охотно первым бросился плыть на ту сторону. За ним под громкий крик мужиков и гиканье Тютюбайки поплыли другие.

Тютюбайка с каким-то ухарством влетел в Убу, и чистые брызги заискрились вокруг него. Григорий благословил Андриюху, отец меня:

— Ну, ступайте со Христом!.. За гриву-то, сынок, за гриву!

Холодная вода полилась мне в голенища, а Гнедко ухнул в водяную яму. В лицо мне хлынула волна, я вытянулся возле лошади, вцепившись за гриву, и никогда так не молился я, как в этот миг. А на берегу кричали и готовили свободную лесину на случай, если кто-либо из нас начнет тонуть... Потом я вдруг стал храбрым и звонко гикал на Гнедка, смеялся от щекочущей и пенящейся воды, а сердце замирало от сознания глубины подо мною и быстрого течения вниз... Но вот копыто лошади стукнуло о гальку... Еще и еще — и я повис на гриве и только тут почувствовал ужасный страх за собственную жизнь.

С меня и с лошади текла вода, сверху с того берега о чем-то мне кричали, но я не слышал ничего... Задорно мы обменивались впечатлениями о нашем подвиге. Тютюбайка заворачивал разбредшихся по кустам лошадей, а я, усевшись на седле, победоносно повернул коня к реке, снял кошёмную шляпу свою и раскланялся с отцом. И видел, как на плоту стоял Осип и ударял топором по лесине. Но странное дело: он ударит, а стука не слышно, и уже когда он вновь поднимет над головою топор, только тогда стук донесется до меня...

Я поскакал вслед за Андрюхой. Вскоре наши лошади были собраны и гуськом побежали по тропинке. По лесу понеслась веселая и звонкая музыка от шаркунцов, ботал и колокольчиков. У моего ленивого и старого Рыжки откуда и прыть взялась...

Весело и бойко понеслись мы по лесам в обратный путь. Маленький, но старый Тютюбайка для нас с Андрюхой был товарищем и дядькой.

Он знал, где надо ехать быстро, а где потише, где покормить и напоить коней, где ночевать.

Особенно мне памятна вторая ночь, проведенная нами уже в полях, тотчас после выезда из лесистых гор. Укачанные в седлах, мы с Андрюхой сунулись на зорьке прямо на росистую траву, подбросив под себя подседельники. И точно не было ночи: мы проснулись на восходе солнца и заметили, что лежим прямо на сырой земле: под нами подседельников не оказалось. Зато над нами стояли отдохнувшие, уже оседланные лошади и Тютюбайка. Он смеялся и лепетал:

— Пошто так спит, ребятишка, насилия разбудил!.. Айда-пошел-поехал!.. Завтра домой, магкой шаньга едь будешь...

Мы сели в седла, в пазуху набрали сухарей и поскакали между колосющихся хлебов и высоких трав туда, к маленьким приплюснутым холмам, среди которых затерялось родное убогое село... Приближаясь Мохнатуха больше не пугала и казалась маленькой после Верх-Убинских горных великанов...

Так совершил я первое свое путешествие в один из уголков сурового Алтая назад тому уж двадцать лет...

Вячеслав Шишков

(1873–1945)

На Бии

I

Однажды летом, в середине августа, наш плот, миновав благополучно бушующие пороги красавицы Бии, пристал у лесного кордона, притаившегося среди зеленеющих лесов левого, низменного берега. Как раз напротив, на противоположном берегу, вздымались кверху мощным увалом Ажи-горы. Одетые зеленым ковром сочных трав, с молодым кудрявым березняком по террасам и складкам увалов, эти горы уходили вниз и вверх по реке, и видно было, покуда глаз хватал, как то здесь, то там лънули к ним, словно дети к матери, многочисленные заимки. А вот за тем увалом, верстах в трех отсюда, разбросился своими домишками аил алтайца Сурубашкина. Точно с разбегу наскочил на гору, да дух заняло — не добежал до вершины, и остановился на полдороге: «хорошо и тут». День был, после вчерашнего дождичка, ясный, солнечный. Все блестело необычайно свежими, сочными красками, точно сегодня законченная, еще не успевшая просохнуть, картина. И гладь успокоенной здесь реки с отраженным куполом голубого неба да зеленеющими берегами, и величественный массив Ажей-гор с игрушечными заимками свободолюбивых староверов — все это, млея на солнце, словно замерло в сладкой истоме, словно молилось без слов, одними, чуть внятными, вздохами да благоуханием каждой былинки и травки.

Мы стояли на берегу и любовались.

— А не худо бы поесть да чайку напитокся, — сказал один из нас

Крикнули рабочим:

— Эй, на плоту!

Те зашевелились, высыпали на берег и стали направлять костры да котелки настораживать. Но в это время к нам подошел господин в форме лесничего и, познакомившись, пригласил к себе.

— Ну, как? Не скучаете здесь? — спросил я.

— Привычка, знаете... А потом, дела так много, что и скучать некогда. Почти все лето в седле: участок огромный, а везде побывать — там пожар, там порубка, здесь лес продать надо...

— Кабинетский?

— Да...

— Кусочек добрый.

— Чего лучше. А потом у меня маленькое хозяйство: коровы, лошаденки, огород. У меня и дыни, и арбузы, и всякая всячина... Вот сегодня «помочь»: траву кошу, сено на зиму заготавливаю. Не желаете ли поглядеть? Картина для вас, горожан, эффектная... Палаша, живо самовар! — крикнул он пробежавшей девке.

— Ччас... — вильнула хвостом, убежала.

Невдалеке, меж редкого молодого сосняка, пестрели яркими цветами группы мужиков и баб — местных черневых татар. Большинство их стояли или, растянувшись, валялись в тени, но, завидя нас, зашевелились, вскочили и с ожесточением принялись махать косами.

— Лодыри. Пока стоишь — работают, отошел — кончено дело.. А вечером все придут водку пить да угощаться; кто вовсе не работал и тот придет..

Подошли вплотную.

— Помогай Бог!..

— Пасибо, пасибо! — все враз крикнули.

Мужики в белых холщовых штанах и рубахах с кумачными выпушками на плечах и под мышками, а бабы либо в ярких ситцевых, либо в холщовых, вроде рубах, платях.

Смуглые, в большинстве чумазы, неряшливые, с черными глазами и волосами, высокие, сильные — они были красивы под лучами солнца и пестрели своими белыми, желтыми, голубыми и красными нарядами, как цветки среди буйной, густой травы.

Постояли, полюбовались. А через четверть часа сидели за самоварчиком и о том о сем калякали.

— А вот не угодно ли яблочков сибирских покушать... только, извините, всего два осталось, — предложила хозяйка и вынула из шкафа настоящие яблоки.

Мы ахнули:

— Как!.. Неужели?.. Сибирские?!

Мы о сибирских яблоках знали только понаслышке. А некоторые сибиряки сибирскими яблоками зовут обыкновенную картошку.

Попробовали. Вкусно.

— Вот с работами мимо пойдете — загляните, — сказал лесничий, — это под Сайдыпом, верстах в пятнадцати от Бии, у Глаголева.

— Непременно. А кто такой Глаголев?..

— Старик очень почтенный. Бывший чиновник.

Петр Николаевич, товарищ наш, человек немецкой складки, учинил лесничему форменный опрос относительно глаголевского сада и записал в книжку. Так как мы угостились преотменного вкуса и крепости медовой брагой, языки наши как следует поразвязались, и мы болтали без умолку, подтрунивая над Петром Николаевичем. А тот потел, фыркал, косясь на нас через пенсне убийственным, с лукавой улыбкой, подслеповатым взглядом, и пунктуально, шаг за шагом, снимал опрос. Когда он дошел до собак и, при всеобщем хохоте, стал записывать их клички, мы поняли, что пора идти спать.

Да кстати и брага в кувшине усохла изрядно.

II

День проходил за днем, мы продвигались с работами версты по четыре в сутки. С каждым шагом перед на-

шими глазами развевались все новые и новые картины, одна другой лучше, красочней.

Когда идешь по незнакомой горной реке, никогда не угадаешь, какую еще панораму она откроет тебе... Ну, хотя бы вон тот зеленый увал, спустившийся в реку, как голова допотопного зверя, поросшая, словно гривой, остроконечным пихтачом.

Смотришь и по аналогии рисуешь себе зеленеющую цветами и травами поляну, виденную раньше вон за таким же увалом.

Подошел, заглянул и ахнул! Опять новое, опять неожиданно-прекрасное, еще не виданное. Горы свесились тут своими оголенными каменными глыбами и отвесной стеной ушли в воду, а река, торопливо обогнув «носую» увала, бросилась на эту каменную грудь и, ударившись, рассыпалась белой пеной, захохотала, заискрилась под лучами солнца и понеслась дальше, волна за волной, опрокидывая по пути оборвавшиеся с утеса камни. А утес стоит да стоит, улыбается добродушно многочисленными очами пещер и вымоин, да, словно брови, хмурит он на челе своем морщины, подернутые мохом времени. А дальше опять аил, за ним покуривающая сизым дымком заимка... Вечереет. Солнце вот-вот спрячется в горах. Понесло холодком. Запахло рекой и пряным запахом хвойного леса.

Плот наш то еле двигается по гладкой поверхности вод, то, попав на стрежь, несется как бешеный.

— Как этот бом прозывается? — спрашиваю лоцмана.

— А кто его знает... Бом да и бом... Быдто прозвищу нету...

— Ну как нету!.. — слышится с гребей.

Говорит бородатый человек в глисовой рубахе, шляпа набекрень. Пришел «с Расеи» за счастьем в Сибирь.

— Второй год здесь толкаюсь, по Бии, к татарам поприсмотрелся... Они народ любопытный, у них, мотри, кажинному ручейку, кажинной балочке прозвище дадено, камень, к примеру, и весь-то с кулак, шапкой прикрыть, расщерился надвое, вроде вилашек — у них прозвище: «айрташ»; скала ушла в поднебесье, да козырем верхушечка натулилась — у них опять кличка: «карлач-уязы» — ласточкино гнездо, значит. Они, брат, все примечают, любят земельку свою, всему название дают... Как в святцах...

И, вынув из кармана горсть кедровых орехов, погрыз-погрыз да еще сказал:

— А то и песню сложат хорошую... Едет-поет, идет-поет... Что видит, про то и поет: река — про реку, девка — про девку, орла высмотрит — про орла песня сложена... Доброй души люди, что говорить...

— Что и говорить, — подхватил другой дядя, сибирик, — с таким народом жить можно... Ничего...

А лоцман спросил:

— Ну, а как же насчет Глаголева господина?.. Поидете, што ль, по яблоки-то?.. Поутру как раз на то место потрафим...

— А далеко до него от берега-то?.. — полюбопытствовали.

— Ка-а-ко далеко, — ответил лоцман, — эдак, как тебе сказать не соврать, версты четыре либо пять, не боле...

— Ой, больше... Как же лесничий добрые пятнадцать верст считает?..

— Мало чего тебе лесничий наскажет... Поди сам-от и не был там... А я скрозь это место знаю... зашурясь пройду...

— Не врешь?..

— На вот тебе... Пошто врать, мы не врем... — Обиделся, посмотрел поверх наших голов на видневшиеся вдали беляки и лоцманским, особым голосом закричал:

— О-о-п!.. Ударь лева-а!.. Еще раз-о-ок!.. Оп!..

Плот пролетел возле самых беляков, качнулся, затрещал в связях.

— Надо иматься, однако... темнеть зачало... Чуть было на камень не налакались. Ишь взмыривает, пропастина...

И опять заревел:

— О-о-п!.. Давай к берегу-у-у!.. Бей речно!! Бей сильно!!! Еще!! Оп!..

Плот лениво завернул к подрезистому приглубому берегу, и минут через десять мы уже сидели возле костров, кипятили чайники и стоваривались о завтрашней прогулке во фруктовый глаголевский сад.

III

На другой день с полден мы вчетвером направились в экскурсию. Перекусили кой-чего всухомятку, да с тем и пошли; далеко ль тут: час туда, час обратно, да там часа два — к обеду как раз вернемся.

— Так версты четыре, говоришь?

— Четыре либо пять, — откликнулся лоцман.

Поверили: человек резонный.

— Вот я вам все обскажу, слушайте: вот так прямехонько через речонку — курице по брюхо, — Куют прозывается — а там заимка... Как заимку пройдешь, все вправо держись, все вправо — упрешься в гору; а как гору перевалишь, тут тебе и Глаголев господин... Его, брат, сразу узнаешь... Бородища — во, по пояс... Поди, сивый стал теперича... По бороде сразу определишь, кто таков... Ну, в час добрый... Со Христом!..

Впереди шел Владимир, высокий, лет двадцати малый, с покатыми, как у борца, плечами и в короткой не по росту рубахе, за ним жизнерадостный, коренастый Вася с энергичными глазами и чуть пробиравшимися усиками. А мы с Петром Николаевичем плелись сзади. Петр Николаевич был малый добрый, товарищ хороший, но трус, каких мало. И, кроме сего, обладал секретом нагонять тоску даже на самую бесшабашную компанию.

— Василий Петрович! Василий Петрович, — говорит он нудным голосом, — а как думаете, тут есть медведи?

Тот молчит, словно не слышит.

— А, Василий Петрович... Есть?

Чтобы отвязаться, Вася кричит раздраженно:

— Есть, есть!.. Они тут еще с прошлого года вас караулят...

А вот и речка. Поискали-поискали брод — нашли, перебрались по камушкам. А Петр Николаевич — человек упрямый — пошел напрямки. И нам видно было, как он, подобрав полы азяма, скакал поперек речки.

— Гоп-ля... Гоп-ля... Гоп!.. — и как раз угодил в омут, чуть не по пояс. Выругался, выполз на берег. Сидит, отливает из сапог воду, кричит:

— Господа, обождите меня... Я сей-ча-а-а-с...

Дождались, опять пошли. День был пасмурный. Дул ветерок. По небу бежали, торопясь к востоку, низкие облака. Пахло дождем и сыростью. Прошли версты две. А вон и заимка. Да не одна, а целых, кажется, пять. Речка, крутясь и извиваясь, опять пересекла нам дорогу, но, славу богу, возле самых заимок на нее наложен из двух сплоченных бревен мост. Бревна ослизли, а берега высоки и круты, да и речонка пыжится тут, переливаясь по камням, как и заправская. Хоть страшно было, а перешли, кто ползком на четвереньках, благо заимочники не видят, а кто похрабрей — на ногах. Поручней не было. Заимочник до этого еще не додумался, а может, нарочно такой мост наладил: мы, дескать, ни в ком не нуждаемся. Да и то сказать: сюда, в этакую глушь, кроме урядника, никто почти из посторонних-то и не заглядывал никогда. А урядник ежели и появится за недоимкой да проползет лишний раз по ослизлым бревнам, эка невидаль! За это ему жалованье от казны идет. Итак, мы возле заимок.

— Молодуха, эй, молодуха! — крикнули мы доившей корову женщине. Повернулась, встала. Высокая, статная, с приятным смугло-розовым лицом и бойкими приветливыми глазами.

— А как нам на заимку Глаголева пробраться?

— Глаголева? — переспросила она нараспев.

— Да.

— Порфирия Яковлевича, што ль?

— Да, да.

— А вам зачем? — заулыбалась, сверкнув белыми, один к одному, зубами.

Мы стояли, опершись на изгородку, и тоже улыбались столь неожиданному допросу. Потом сказали ей цель нашего путешествия.

— А вы кто такие будете?

Опять допрос.

— Мы исследуем Бию: глубины промеряем, планы с порогов снимаем, пробуем, нельзя ль пароходы по реке пустить...

— А-а-а... Водяные землемеры, значит, будете?..

— Вроде этого...

— Так-так... — задумалась.

Тут одно облачко разорвалось надвое, и солнце ленивыми лучами стало заливать, не торопясь, окрестность. Вот вспыхнула серебром речка, улыбнулись белые, чистенькие домики займки, зарделся ярко зеленеющий лес на цепи холмов. И вдруг, что за чудо! вместе с радостным лучом солнца раздались откуда-то, совсем близко, печальные звуки похоронного пения. Мы вздрогнули, переглянулись, — посмотрели по сторонам. Да, вот оно что! Там, за речкой, в полугоре, стоят в неподвижных, понурых позах люди, человек двадцать. Двое, нагнувшись, копают землю лопатами, а остальные поют да плачут. И чем ярче светило солнце, чем наряднее одевались под его лучами леса и горы, тем безутешнее плакало пение. Баба отставила подойник. Мы спросили ее:

— Что это?

— А девочку займочники хоронят... Луки Митрича дочку... Сгорела вчерась, сердешная...

— Большая?

— Да лет этак десяти поди будет... Ох, родименькая моя, о-о-х... Глашенька ты моя... Ягодка моя борова-а-я...

Женщина замигала часто-часто, скорбью покрылось лицо ее, засморкалась, прикрылась передником и жалобным голосом запричитала.

Из займок, то здесь, то там, бежали, ловко перепрыгивая через соседние изгороди, парни и девки, молодые мужики и бабы, старики со старухами степенно выступали из калиток, и все, с опечаленными лицами, спешили туда, к тому залитому солнцем зеленому увалу, где хоронили девочку.

— Ох, милые мои, побегу... ох, побегу... Ох, Глашенька моя...

И, причитая, направилась к калитке.

— Она родная, что ли, тебе?

— Не родная, да лучше родной... Мы здесь — все родные.

Пошли рядом с ней.

— Как же сгорела-то она?

— Да как... Знамо, грех!.. Отец-то с матерью в город за товаром уехали вчерась, — торговцы они, — и посейчас еще нету их, баушка одна слепая. Сами-то не ране как в воскресенье приедут. Ну, а девочка-то, знамо ума нет, разложила костер на дворе, картошку варить себе с баушкой к ужину, ан платьишко-то у ней возьми да и займись полымем...

Баба засморкалась, сморщилась вся, всхлипнула раз-другой и, успокоившись, продолжала:

— Взнялась огнем вся, несчастненькая, да с перепугу, видно, и языка лишилась. Подала голос, когда уж почернела вся... Помаялась ночь-то, а к утру вот и преставилась... Ласковая такая да обходительная была. Все займочники в голос ревели возле нее всю ночьеньку... Да где тут... Не свят дух, не поможешь...

— А доктора нет поблизости?

— Как тут доктора, попа и того нет, вишь, сами хороним. Вот батьке с маткой горе-то будет!..

Остановилась, посмотрела на нас заплаканными глазами и сказала:

— А вы вот по эфтой дорожке так и идите, все по закоулку, по закоулку, никуда не задавайтесь, ни вправо, ни влево... Дойдете до Комаровой займки, а там и к Плаголеву дорогу спросите...

— А далеко еще до Плаголева-то?

— А кто е знат... У нас не меряно... Верст, поди, с десяток набезит...

— С десяток?! — удивились мы.

— А кто е знат... Може, и мене... Ну, прощайте, пока...

Мы постояли с минуту и пошли дальше.

— А вы яичек свеженьких не купите либо шанежек? — крикнула нам вдогонку и, когда мы отказались, опять прозвенела серебристым молодым голосом: — Ну, в час добрый!

И бегом — заторопилась к могилке.

IV

Пока дорога шла у подножья холмов, по сухому месту, подвигались вперед быстро, но вот, одно за другим, стали попадаться небольшие болотца. Дорога совершенно терялась в них, а для пешеходов по обочинам налажены были, чрез бегущие тут ключи, переходы из жердочек. И, по мере того как болота попадались все чаще и чаще, путь становился трудней. Каждый из нас запасся по дороге хорошим колом и, балансируя, как по канату, перебирался по жердочкам чрез опасное место.

— Гоп-ля, гоп-ля-гоп! — выкрикивал отчаянно Петр Николаевич и на самом вязком месте неуклонно срывался в болото.

Отстал от нас изрядно:

— Эй, господа... я быстро не могу... я человек близору-у-кий...

Приходилось ждать.

А солнышко опять спряталось за тучи, и начал накрапывать дождик. На душе стало грустно и от только что виденной картины, и от плохой дороги, и от обложенного свинцовыми облаками неба. Ноги ныли, нервы от постоянного напряжения устали, стучало сердце. А время шло да шло. Уж скоро четыре часа, а займки что-то не видно. Вот тебе и пять верст!.. Стали ругать лоцмана, заочно посылая его ко всем чертям.

— Господа, займка! — крикнул Владимир, шедший сажень в пятидесяти от нас.

— Далекое?

— Нет... Версты две будет... С гаком...

— Тьфу, черт ее задави!..

Идем дальше, ругаемся.

Вдруг залилась собака, за ней другая.

— А ведь мы, господа, верст восемь добрых отбрыкали, — сказал кто-то.

Собаки набросились, точно с цепи сорвались, и, несмотря на крики и цыканье девчонки, сидевшей под окном домика, они до тех пор насакивали на нас, задрав хвосты и скаля острые зубы, пока не съездили одну из них вдоль спины жердью.

— Девочка, а девочка!

— Ну, чо надо?.. — пропишала та.

— Глаголеву заимку знаешь?..

— Ну, знаю...

— Как пройти туда?

— Вон, э-эвона крыши-то выглядывают из леску...

— Тут и есть Глаголев?

— Как бы не так... Нет, брат, до него еще пошагаешь. Это только еще Наумовска заимка. Дойдешь, спросишь...

— Как Наумовска, что ты мелешь?.. — возмутились мы. — Нам же сказали, что от Бии верст пять до Глаголева...

— Вот те и пять... Нет, брат, пошагаешь... Отседова верстов, поди, восемь будет...

Мы расхохотались ей прямо в глаза:

— Ничего ты не смыслишь, девах!..

И пошли по дороге вперед. А побитая собачонка изловчилась-таки подкрасться сзади и сцапать за ногу отставшего Петра Николаевича. Хамкнула и, поджав хвост, быстро отскочила в кусты. Тот ахнул диким голосом, торкнулся носом, вскочил, опять упал и тогда только закричал, как заплакал:

— Господа... погодите... я пенсне обронил...

Но ждать мы не желали. Вася крикнул:

— Скорее идите... Вы нас погубите... Ночь на дворе, а тут волки бешеные рыщут по болотам...

— Серьезно?! — стонет Петр Николаевич и, не дождавшись ответа, подбирает повыше полы и рысью догоняет нас.

Действительно, стало темнеть: время предосеннее.

V

Сразу же за заимкой болота кончились, и дорога, опушенная буйным кустарником, пошла в гору и скоро врезалась в молодой лиственный лес, за которым синели вдали таежные дебри. Шли быстро. Страшно хотелось есть, но желание скорей достичь цели подбавляло нам силы и бодрости. Подсмеивались над собой, над шустрой девчонкой, над лоцманом, и все были уверены, что видневшаяся вдали заимка и есть не что иное, как глаголевский рай.

А вот и лесок. Стоит себе, притих, нахмурился.

Дорога опять стала грязной, и мы направились возле нее, по опушке.

Ранняя здесь осень успела уже наложить руку на теряющие свои рызы леса. Пред этим были два-три

утренника. Кой-где поблекла травка, стали желтеть помаленьку да осыпаться листья берез и осин. Зато боярка да бузина с рябиной стояли раздумянные всеми цветами теплых тонов от ярко-кирпичного до густо-фиолетового, почти сизого. И гроздь их свешивались красными шапками, как бы приглашая сорвать и отведать впитанные ими лучи солнца, запахи ветра да соки земли.

Костяника так рдела на яркой зелени лесной травы, что даже и в сумерках бросалась в глаза своими холодными, алыми, как кровь, ягодками. Срывали и ели, чтобы утолить жажду. Вдруг лесок разбежался в стороны, и сразу, по склонам увала, встала перед нами заимка. Все здесь жило, двигалось. Множество коров толкались тут возле домов и домишек. Сновали собаки, храпели, помахивая хвостами, лошади. Бабы с подоюниками и ребятишки сустились, галдели. Мужиков не было видно. Впрочем, под окном одной заимки бородатый дядя обихаживал, с молотком в руках, сенокосилку. Кой-где в окнах мерцали огоньки. А тут же почти рядом, в ложбине, за мостиком через речку, виднелся обнесенный новым дощатым заплотом участок земли и среди него два «справных» дома. Мы сразу догадались:

— Наконец-то Глаголев.

Очень обрадовались. Вася подбочился, заулыбался, чтоб попробовать голос, запел весело:

— Кончен, кончен дальний путь...

Мы тоже, кто как умел, подхватили и, радостные, направились к тем домам, но Петр Николаевич, человек во всех отношениях премудрый, сказал:

— Не лучше ль нам справиться, пустят ли туда ночевать?.. Эй, тетенька, а тетенька! Подойдите-ка на минутку.

Тетенька одернула подол, подошла. А потом подошел и волосатый дядя.

— Ведь это, если не ошибаюсь, Глаголева заимка?

Мы стояли, улыбались и нетерпеливо ожидали утвердительного ответа. Баба молча почесала зад, а дядя кашлянул в кулак, зевнул не торопясь, взглянул на нас искоса, спросил:

— А вы кто такие сами-то?

И опять пришлось «начинать сначала».

— Да эта заимка Глаголева, что ль? — почти крикнули мы.

— Которая?..

— Да вот...

Повернул опять, не торопясь, голову, посмотрел прищуренными, подслеповатыми глазами на белый заплот, и так же медленно перевел глаза на нас.

— Вот эта? — указал рукой.

— Ну да?! — горячились мы.

— Да вы кто такие сами-то?..

— Тьфу!.. Тетенька, милая, хоть ты скажи, бога ради...

Та утерла проворно нос указательным пальцем и бухнула:

— Нет, еще до Глаголева упруешь, мотри... Рубаху-то выжмешь.

Мы так и присели от изумления и тупой злобы ко всему на свете. Петр Николаевич пожелтел сразу — что случилось с ним всегда, когда он злился, — и, взглянув чрез пенсне в плутоватое лицо бабы, унылым голосом, не без яда, сказал:

— Чтоб вам, тетенька, типун на язык за ваши слова.

Та, усмехнувшись, ответила:

— В ефтом разе уж мы не виноваты... А только что до Глаголева еще верстов пять будет...

Мы стали втроем совещаться — как быть, а Петр Николаевич продолжал в том же духе:

— А у вас, тетенька, муж есть?

— Неужли — без мужа... знамо, есть...

— Чтоб у него борода отсохла, тетенька...

— Вот дурной... Да чо ты, в уме?... Ха-ха-ха... Ну и дурно-о-ой...

— Да ка-ак же, — хнычет Петр Николаевич, — обида ведь: перли-перли, верст десять пробухали; я глубину всех болот перемерял, в речке выкупался, иззяб, кушать хочется, и вдруг — пять верст еще... У-ю-ю-ю... — и Петр Николаевич сокрушенно закрутил головой...

Мнения разделились. Я да Вася во что бы то ни стало решили доползти до Глаголева, — все одно: день потерян, а путешествие в тайге ночью интересно новизной впечатлений, — а двое других настаивали переночевать здесь, чтоб утром, чуть свет, тронуться в путь.

Мотивировка их сводилась всего к двум словам:

— Ночь... тайга...

А для нас двоих, наоборот, это-то и служило приманкой. Наконец нам удалось склонить Владимира, а за ним должен был подчиниться решению большинства и Петр Николаевич.

Распрощались.

— А то ночевали бы... у нас ноне слободно: хозяйина нет... — сказала тетка, обхватив руками прущую наружу грудь, и насмешливо улыбнулась.

Однако пошли.

— Мотри, никуда не свертывай... Они будут, сверточки, а вы все прямо, все прямо; да на леву сторону все поглядывайте... Огонь на горе увидите — тут тебе и Глаголев живет.

Когда прошли шагов двадцать, Петр Николаевич, хлопнув ладонью сначала по одному карману, потом по другому, вынул записную книжку с карандашом и, остановившись, крикнул, стараясь придать игривость своему плаксивому голосу:

— Эй, тетенька!..

— Ну, чо еще?..

— А как ваша девичья фамилия?

Мы шагали втроем дальше; а тетка рассыпалась мелким смешком и весело закричала:

— А подь ты от меня!.. Стеклянные твои глаза... Просмешник...

Мы хотели было раскатиться хохотом, но, вспоминая, что Петр Николаевич человек премудрый и что не зря же он допытывает тетку, от смеха, по молчаливому уговору, воздержались.

VI

У займки, в полугоре, сумерки только что наступили, но в низине, куда мы спустились, чувствовалось, что чрез полчаса, много — час, наступит ночь.

Ну и отлично. Дорога шла лугом, и по бокам ее, то здесь, то там вздымались душистые стога свежего сена. Вон туман стелется, цепляясь за кусты: должно быть, у горы болотце. Пронеслось над нами стадо уток, за ним — другое. Вася вскинул ружье, но опоздал. Опять стог, огороженный жердями. А вдали, куда бежит дорога, что-то чернеет. Мы знаем, что это тайга.

По поляне попадаются деревья, в одиночку и целыми островками. Налево, рядом с ними, темные увалы холмов. Где-то стучит топор. Это, наверное, доканчивают просеку рабочие землемера, межующего землю, — так сказали нам на займке. Идем быстрее и, чтоб не скучно было, поем песни. Вдруг дорога разлетелась в разные стороны: одна вправо, другая влево, а третья — меж ними. Пошли прямо, как учила нас тетка. Но та дорога скоро разбилась опять на три, одна из них, что поменьше, круто завернула влево. Вот тут-то мы и призадумались. Пошли на разведки.

А кругом становилось темней да темней.

Левая перешла скоро в просеку, с вешками посредине, и там затерялась куда-то, правая — увязла в болоте, пошли по средней.

Стало холодать. Справа тоже показались горы. А в небе ни звездочки: серо-серое, неприветливое, висело оно над нами. Шли мы хмурые, не уверенные — туда ли идем.

Опять утки. Вася прицелился. Глухо раздался выстрел и замер; а чрез секунд пять вдруг пред нами в горах что-то грохнуло и мягкими, рокочущими звуками покатилося-покатилося, дальше да тише, и, не успев замереть, с новой силой загрохотало вправо, рассыпалось, притихло, перебросилось влево, там грохнуло и таким же мягким, все убывающим роко-том унеслось вдаль и пало где-то в тайге.

Мы стояли как зачарованные и слушали:

— Вот так эхо!

Опять выстрелили и слушали вновь.

Потом сильными голосами взяли аккорд:

— А-а-а!!

Укатились звуки, замерли, и вдруг, в разных местах, одна за другой, гармонией откликнулись горы. Это было так необычно, так трогательно и красиво, что мы повторяли еще и еще, забыв о дороге. Однако пошли. Наш путь пересекла какая-то хорошо прото-

ренная дорога, а сажень через сто — другая. Черт знает сколько дорог!..

— А ведь мы, господа, заблудились!..

— Ну вот еще...

Но все мы чувствовали, что сбились с пути... А сумрак ближе да ближе. Вот кончается скоро поляна, и тайга поглотит нас всех. Вася сзади кричит:

— Обождите, пистоны я потерял сейчас!..

Плохо. В тайге без ружья плохо.

Петр Николаевич почувствовал это сильнее всех и первый побежал на помощь Васе.

Искали с полчаса: все сажень на десять выползали, найти не могли. Сожгли полкоробки спичек.

— Я, господа, дальше не пойду, я лучше вернусь, — говорит Петр Николаевич и, не получив ответа, предлагает: — Давайте-ка, пока не поздно, залеземте до утра в стог...

Но мы схватываем его под руки и толкаем вперед.

Поляна кончилась, пошел перелесок, за ним — тайга. Темная-темная, приняла она нас, но мы люди бывалые — не боимся, идем.

Стало так темно, что мы больше не видим друг друга, только два белых картуза сереют да слышатся хлюпающие шаги по грязной, после дождя, дороге.

— Стоп!.. Ух, — язвы те!.. — Слышится время от времени недовольный голос Петра Николаевича: должно быть, натывается, деревья да пни.

Заухал, заржал где-то филин. А ему откликнулся другой.

— Животная ночная... — сказал Вася и спросил: — А вы, Петр Николаевич, животная какая?

Тот, помедлив, жалобно отвечает:

— Денная...

— А зачем же вы на ночь глядя пошли?..

— По глу-упости... Я думал, что близко... Кабы знал — не пошел бы.

Впереди всех хлюпает Владимир.

— Господа, — кричит он, — дорога пропала!..

Подожли. Ползает на четвереньках и щупает руками землю. Мы очутились на какой-то сплошь истоптанной копытами поляне. Ползаем сами, щупаем, ничего не можем понять...

— Сюда, господа, сюда!.. — опять кричит Владимир. — Нашел!..

Спотыкаясь и падая, бежим на голос. Верно, дорога... Но не другая ли? Ну, да теперь все равно. Идем. Чувствуем, что свалили дурака, не оставшись ночевать на заимке.

Кто-то из нас сказал:

— А ведь эта дорога идет, пожалуй, на прииски, что по Лебеди... Верст сто пройдешь и жилья не встретишь.

В тайге что-то хрустнуло.

— Не медведь ли?!

А ружья нет, без пистонов оно — палка.

— Ребята, медведь!!

И мы сразу что есть силы заорали, чтоб напугать.

— Это я-а-а... — стонет в ответ Петр Николаевич. — Где тут дорога-то?..

Вдруг, среди тьмы, откуда-то сверху, с увала, что с левой руки, яркий женский голос:

— Э-го-о-о-ой!..

Ах, как обрадовались мы тогда. Боже, как обрадовались!

— Огонек, огонек на горе...

— Где?..

Погас огонь и больше не появлялся. Мы принялись кричать все враз... Голос не откликался.

— Глаголев!.. Глаголев!..

Слышим:

— Э-э-э-эй!.. — кричит опять женщина, где-то далеко-далеко, чуть слышно и как будто в другом уже месте.

— Гла-го-лев!.. Гла-го-лев!!

Молчание. Кричали полчаса. Ни звука...

Вася зарядил ружье, насыпал в капсюлю пороха, а Владимир поджег. Ружье плюнуло полымем, грохнуло, заорало. Но вновь тишина, и только слышно было, как тяжело дышали наши груди.

— Это — русалка...

Кто-то сказал глупость — а мороз подрал по коже, чакнули зубы.

— Русалочка, милая, захохочи!.. Зачем и куда завела ты нас? — шутил Вася.

— Я бы предложил, господа, идти налево, прямо к тому месту, откуда кричали... — сказал Петр Николаевич.

Но, сообразив, что ночью по незнакомой тайге ходить опасно — можно погибнуть, — решили идти вперед, не теряя дороги:

— Авось дойдем, хоть к утру, до какой-нибудь заимки.

Голод совсем пропал, только ноги дрожали да в груди ползали злоба и жуть.

VII

Когда мы, достаточно измучившись, начали малопомалу терять мужество, встал перед нами неприятный вопрос: «Что же делать?»

Назад идти, на заимку, безрассудно: в такой тьме не найти даже стога сена. Ночевать в тайге — без ружья опасно. И, кроме того, стало холодно. Положение было не из приятных. Решили ощупью подвигаться вперед. Хоть на душе у нас было больно плохо, но там где-то на дне, как уголек в золе, чуть мелькала надежда: авось! Молча шли кой-как вперед. Останавливались, прислушивались к тайге. Но ни звука, ни шороха. Да полно, есть ли тайга-то? Так темно и тихо... Не погиб ли я? Существует ли что-нибудь возле меня, кроме тьмы, тишины и жути. А может быть, сон?

— Господа... — тихо спрашиваю я.

Отвечают. Это хорошо. Хоть дрожащими голосами ответили, а на душе стало легче.

— Господа, — стараюсь говорить громко, — давай-ка нащупаем березу, надерем бересты, факелов понаделаем и с песнями пойдём вперед.

Предложение принимается, и через минуту Петр Николаевич кричит:

— Е-сть береза...

Вот зажгли факел, за ним вспыхнул впереди другой. Тьма расступилась, запрыгала. Всюду поползли черные тени от нас самих, от стволов и пней. Береста фыркала, трещала, а густой дым клубился ввысь, сливаясь с чем-то черным, бездонным. Сгрудились все, пошли проворно, пока горят огни. Вдруг видим: прет на нас из тьмы какое-то серое чудище, храпит.

— Стой, стрелять буду! — Слышится незнакомый окрик. — Вы кто такие?!

А у нас возьми да, как на грех, факелы и погасли. И опять стала тьма. Ох, какая зловещая была минута.

Ббах!! — грохнул вдруг выстрел. Ббах!!! — другой.

— Да ты ошалел? — как зарезанные заорали мы.

— А вы кто такие? — Опять злой голос прорезал тьму, совсем близко от нас.

— Где Глаголев живет?

— Я вам такого Глаголева покажу, что унеси бог тепленьких!.. — загремел голос, и слышно было, как сломилось оружие, как вставились в стволы свежие патроны.

— Мы не жулики, мы вот кто...

— А-а-а, — более дружелюбно протянул голос и добавил совсем мягко: — А то, кто е знает... Вот прошлым летом также, было укокошили нас... С приисков, должно...

Трясущимися от волнения руками зажгли факел. Глядим — стоит перед нами верховой, здоровенный, на белом коне, мужик и угрюмо шупает нас глазами, держа наготове ружье. Заметив, должно быть, две форменные фуражки — успокоился окончательно.

— А я с соседней заимки, с версту подале отсюда. Промеж нас, вишь, уговор с Глаголевым: ежели у него ночью выстрел — я к нему должен на помощь, а у меня — он ко мне... Так это вы стреляли-то даве?..

— Где ж Глаголев-то?..

— А вот на горе, против вас... Каких-нибудь сто печатных сажень...

— Сделай милость, проводи, полтину дадим...

Согласился:

— Ну, я впереди, а вы не отставай, держись прямо за лошадьку... А то тут ключик... Айда!

Таковыми ослепительными улыбками сияли наши физиономии, что, кажется, было б светло и без факелов. Шли, хохотали, рассказывая заимочнику наши злоключения. Хохотал и он.

— Еще как вы на зверя не натакались...

— А есть тут? — хриплым шепотом спросил Петр Николаевич.

— Тут-то? Ха-ха... Сколь хошь.

Петр Николаевич вздрогнул всем телом и зашагал ближе к лошади, пугливо косясь по сторонам. Наконец миновали ключик, поросший колючими кустами кочкарника, и уперлись в гору.

— Глаголе-ев!.. Эй, Глаголев... — закричал всадник. Мелькнул вверху огонек, и женский голос ответил:

— Что-о-о?..

— Ты, Аннушка?

— Я...

— Вот гостей пымал... Господа к вам идут в гости... Сады смотреть. .. Сам-то старик спит?

— Нет еще...

— Ну так вот, примайте...

И, обратясь к нам, сказал:

— Ну, давайте деньги... Вот по этой тропке карапайтесь вверх. Как раз в калитку.

Я порылся в кошельке и сунул провожатому в руку полтину. Тот завозился в седле, чиркнул спичку и внимательно осмотрел монету: не надули бы!

— Ну, благодарим... Прощайте-ка.

И, отъехав, крикнул сквозь тьму:

— А я, грешным делом, так и подумал, что вы, современем, варначье. Ха-ха-ха!.. Уж извините...

VIII

Наконец-то. Перед нами домик окна в четыре. Крыльцом выходит во двор, застроенный сарайчиками, клетушками, навесами. Хотя наружная дверь была настежь, однако доступ в сени преграждался низенькой, странного устройства, калиткой, а за ней, по пояс скрытые, стояли, сгрудившись, трое: высокий с огромной окладистой бородой старик, молоденькая, лет шестнадцати, девушка да пожилая женщина. Старик держал фонарь и, сделав руку козырьком, пристально разглядывал нас. Лица их были бледны, глаза светились тревогой и любопытством.

— Вы кто такие, господа?..

Здороваемся, называем себя...

— А-а... так-так... Милости просим, милости просим... — а сам калитку не отмыкает. Начался допрос: как про него узнали, почему заблудились, кто стрелял? Наконец протянул, перегнувшись через калиточку, руку: — Ну, здравствуйте-ка... Вот теперь пожалуйста. — Вынул из скобок запор, отворил дверцу.

— Аннушка, внеси ружьишки-то в комнату...

Та, конфузливо улыгнувшись, взяла стоящие в углу три ружья и, хихикнув, скрылась в комнаты, а старик сказал:

— Вы, милостивые государи, изрядно-таки напугали нас... вишь какой гостинец был для встречи приготовлен... Уж извините... Живем в страхе... Место глухое... Вот также прошлым летом...

И он рассказал, как их чуть не убили какие-то проходимцы с золотых приисков.

— Это не вы ли нам голосок подавали? — спросил Вася девушку. Та суетилась, накрывала на стол, возилась возле самовара.

— Я... — улыбнулась, стрельнув глазами.

— А мы вас за русалочку приняли. Почему ж вы не откликнулись нам, злодейка?

— Потому, как Порфирий Яковлевич не велели. Мы попервости подумали, что евоный сын с города едет, Михайло... А потом слышим — нет: чужие, да много...

— Не только кричать... хе-хе-хе, — смеялся старик, — я и огонь-то велел в дому погасить... В тайге опаска не вредит... А народ всякий бывает... Иной хуже зверя...

— Сколько верст до Бии считаете? Мы оттуда шли...

— Семнадцать...

— Семнадцать?! Ллловко!!

Мы с таким волчьим аппетитом набросились на свежее роскошное сливочное масло, на чай, на душистый, только что подрезанный мед, что, — не знаю, как товарищам, — а мне было-таки стыдненько.

Нас засыпали вопросами. Мы отвечали, сами спрашивали, много смеялись, но что отвечали и о чем спрашивали — хорошенько не помню, очень хотелось спать. Да и товарищи изрядно позевывали.

Помню только очень хорошо, как среди чая Плаголев куда-то исчез с ключами и фонарем и минут через десять явился с яблоками в корзине.

Все мы очень дивились, всячески рассматривали яблоки: и на ладони взвешивали, и на свет смотрели. Наконец стали есть. Петр Николаевич, по обыкновению своему, священнодействовал. Через полчаса мы разбросили по полу свои «азямы» и кой-какую хозяйскую «лопотину», грбхнулись как попало и уснули богатырским сном.

В путь двинулись, неся по очереди два пудовых ящика меду. Потом, на поддороге, этот мед мы трижды прокляли, так как ящики оттянули нам руки. Мой ящик был связан лычной веревкой с большой петлей. Я умудрился петлю надеть на шею, и ящик все время тянул меня вперед, нагибая к земле. Я пытел, спотыкался на кочки, но все-таки кое-как по двигался. Дорога была скверная, и ее тоже пришлось проклясть трижды.

Назад шли ровно пять часов.

Домой пришли втроем: Вася остался у молодой красивой заимочницы — купить свеженьких яичек да шанежек...

— Эй, позовите-ка сюда лоцмана!

Пришел. Взглянул на нас — смекнул, в чем дело, — стоит, виновато улыбается. Глаза бегают.

— А сколько верст отсюда до Плаголева?

Молчит, смотрит на нас, улыбается. Потом снял картуз, изо всех сил поскреб темя, опять надел и тогда только, с виноватой ужимочкой, ответил:

— Да верст, поди, шесть либо девять...

Мы взялись за бока и покатались со смеху.

А лоцман, поцапывая по очереди то бока, то спину, бубнил:

— Кто е знат... Знамо, не меряно... Все говорили быдто, что четыре.

Василий Шукшин (1929–1974)

Космос, нервная система и шмат сала

Старик Наум Евстигнейч хворал с похмелья. Лежал на печке, стонал.

Раз в месяц — с пенсии — Евстигнейч аккуратно напивался и после этого три дня лежал в лежку. Матерился в бога.

— Как черти копытями толкут, в господу мать. Кончаюсь...

За столом, обложенным учебниками, сидел восьмиклассник Юрка, квартирант Евстигнейча, учил уроки.

— Кончаюсь, Юрка, в крестителя, в бога душу мать!..

— Не надо было напиваться.

— Молодой ишо рассуждать про это.

Пауза. Юрка поскрипывает пером.

Старику охота поговорить — все малость полегче.

— А чо же мне делать, если не напиться? Должон я хоть раз в месяц отметиться...

— Зачем?

— Што я, не человек, што ли?

— Хм... Рассуждения как при крепостном праве. — Юрка откинулся на спинку венского стула, насмешливо посмотрел на хозяина. — Это тогда считалось, что человек должен обязательно пить.

— А ты откуда знаешь про крепостное время-то? — Старик смотрит сверху страдальчески и с любопытством. Юрка иногда удивляет его своими познаниями, и он хоть и не сдастся, но слушать парнишку любит. — Откуда ты знаешь-то? Тебе всего-то от горшка два вершка.

— Проходили.

— Учителя, што ли, рассказывали?

— Но.

— А они откуда знают? Там у вас ни одного старика нету.

— В книгах.

— В книгах... А они случайно не знают, отчего человек с похмелья хворает?

— Отравление организма: сивушное масло.

— Где масло? В водке?

— Но.

Евстигнейчу хоть тошно, но он невольно усме-
хается:

— Доучились.

— Хочешь, я тебе формулу покажу? Сейчас я те-
бе наглядно докажу... — Юрка взял было учебник хи-
мии, но старик застонал, обхватил руками голову.

— О-о... опять накатило! Все, конец...

— Ну, похмелись тогда, чего так мучиться-то?

Старик никак не реагирует на это предложение.
Он бы похмелился, но жалко денег. Он вообще скря-
га отменный. Живет справно, пенсия неплохая, сы-
новья и дочь помогают из города. В погребе у него
чего только нет — сало еще прошлогоднее, соленые
огурцы, капуста, арбузы, грузди... Кадки, кадушки,
туески, бочонки — целый склад. В кладовке полтора
куля доброй муки, окорок висит пуда на полтора.
В огороде — яма картошки, тоже еще прошлогодней,
он скармливает ее боровам, уткам и курицам. Когда
он не хворает, он встает до света и весь день, до тем-
ноты, возится по хозяйству. Часто спускается в по-
греб, сядет на приступку и подолгу задумчиво сидит.
«Черти драные. Тут ли сейчас не жить!» — думает он и
вылезает на свет белый. Это он о сыновьях и дочери.
Он ненавидит их за то, что они уехали в город.

У Юрки другое положение. Живет он в соседней
деревне, где нет десятилетки. Отца нет. А у матери,
кроме него, еще трое. Отец утонул на лесосплаве. Те
трое ребятшек моложе Юрки. Мать бьется из послед-
них сил, хочет, чтоб Юрка окончил десятилетку. Юрка
тоже хочет окончить десятилетку. Больше того, он
мечтает потом поступить в институт. В медицинский.

Старик вроде не замечает Юркиной бедности, бер-
ет с него пять рублей в месяц. А варят — старик себе
отдельно, Юрка себе. Иногда, к концу месяца, у Юрки
кончатся продукты. Старик долго косится на Юрку,
когда тот всухомятку ест хлеб. Потом спрашивает:

— Все вышло?

— Ага.

— Я дам... апосля привезешь.

— Давай.

Старик отвешивает на безмене килограмм-два
пшена, и Юрка варит себе кашу.

По утрам беседуют у печки.

— Все же охота доучиться?

— Охота. Хирургом буду.

— Сколько ишо?

— Восемь. Потому что в медицинском — шесть,
а не пять, как в остальных.

— Ноги вытянешь, пока дойдешь до хирурга-то.
Откуда она, мать, денег-то возьмет столь?

— На стипендию. Учатся ребята... У нас из дерев-
ни двое так учатся.

Старик молчит, глядя на огонь. Видно, вспомнил
своих детей.

— Чо эт вас так шибко в город-то тянет?

— Учиться... «Что тянет». А хирургом можно по-
том и в деревне работать. Мне даже больше глянется
в деревне.

— Што, они много шибко получают, што ль?

— Кто? Хирурги?

— Но.

— Наоборот, им мало платят. Меньше всех. Сей-
час прибавили, правда, но все равно...

— Дак на кой же шут тогда жилы из себя тянуть
столько лет? Иди на шофера выучись да работай.
Они вон по скольку зашибают! Да ишо приворовы-
вают: где лешишко кому подкинет, где сена привезет
совхозного — деньги. И матери бы помог. У ей вить
ишо трое на руках.

Юрка молчит некоторое время. Упоминание о
матери и младших братьях больно отзывается в серд-
це. Конечно, трудно матери... Накипает раздраже-
ние против старика.

— Проживем, — резко говорит он. — Никому до
этого не касается.

— Знамо дело, — соглашается старик. — Сбили
вас с толку этим ученьем — вот и мотаетесь по бело-
му свету, как... — Он не подберет подходящего сло-
ва — как кто. — Жили раньше без всякого ученья —
ничо, Бог миловал: без хлебушка не сидели.

— У вас только одно на уме: раньше!

— А то... ирапланов понаделали — дерьма-то.

— А тебе больше глянется на телеге?

— А чем плохо на телеге? Я если поехал, так
знаю: худо-бедно — доеду. А ты навернесся с этого
свово ираплана — костей не соберут.

И так подолгу они беседуют каждое утро, пока
Юрка не уйдет в школу. Старикуну необходимо выгово-
риться — он потом целый день молчит; Юрка же,
хоть и раздражает его занудливое ворчание старика,
испытывает удовлетворение оттого, что вступает за
новое — за аэропланы, учение, город, книги, кино...

Странно, но старик в Бога тоже не верит.

— Делать нечего — и начинают заполошничать,
кликуши, — говорит он про верующих. — Робить на-
до, вот и благодать настанет.

Но работать — это значит только для себя, на сво-
ей пашне, на своем огороде. Как раньше. В колхозе
он давно не работает, хотя старики в его годы еще ко-
лупаются помаленьку — кто на пасеке, кто объезд-
ным на полях, кто в сторожах.

— У тебя какой-то кулацкий уклон, дед, — ска-
зал однажды Юрка в сердцах.

Старик долго молчал на это. Потом сказал непо-
нятно:

— Ставай, проклятый заклеменный!.. — И вы-
сморкался смачно сперва из одной ноздри, потом из
другой. Вытер нос подолом рубахи и заключил: — Ты
ба, наверно, комиссаром у их был. Тогда молодые
были комиссарами.

Юрке это польстило.

— Не проклятый, а — проклятем, — поправил он.
— Насчет уклона-то... смотри не вякни где. А то придут, огород урежут. У меня там сотки четыре лишка есть...

— Нужно мне.

Частенько возвращались к теме о Боге.

— Чо у вас говорят про Его?

— Про кого?

— Про Бога-то.

— Да ничего не говорят — нету Его.

— А почему тогда столько людей молится?

— А почему ты то и дело поминаешь Его? Ты же не веришь.

— Сравнил! Я — матерюсь.

— Все равно — в Бога.

Старик в затруднении.

— Я, што ли, один так лаюсь? Раз его все вспоминают, стало быть, и мне можно.

— Глупо. А в таком возрасте вообще стыдно.

— Отлегло малость, в креста мать, — говорит старик. — Прямо в голове все помутнело.

Юрка не хочет больше разговаривать — надо выучить уроки.

— Про кого сейчас проходишь?

— Астрономию, — коротко и сухо отвечает

Юрка, давая тем самым понять, что разговаривать не намерен.

— Это про што?

— Космос. Куда наши космонавты летают.

— Гагарин-то?

— Не один Гагарин... Много уж.

— А чего они туда¹ летают? Зачем?

— Привет! — воскликнул Юрка и опять откинулся на спинку стула. — Ну, ты даешь. А что они, будут лучше на печке лежать?

— Што ты привязался с этой печкой? — обиделся старик. — Доживи до моих годов, тогда вякай.

— Я же не в обиду тебе говорю. Но спрашивать: зачем люди в космос летают? — это я тебе скажу...

— Ну и растолкуй. Для чего же тебя учат? Штоб ты на стариков злился?

— Ну, во-первых: освоение космоса — это... надо. Придет время, люди сядут на Луну. А еще придет время — долетят до Венеры. А на Венере, может, тоже люди живут. Разве не интересно поглядеть на них?..

— Они такие же, как мы?

— Этого я точно не знаю. Может, маленько страшней, потому что там атмосфера не такая — больше давит.

— Ишо драться кинутся.

— За что?

— Ну, скажут: зачем прилетели? — Старик заинтересован рассказом. — Непрошенный гость хуже тарарина.

— Не кинутся. Они тоже обрадуются. Еще неизвестно, кто из нас умнее — может, они. Тогда мы у них будем учиться. А потом, когда техника разовьется, дальше полетим... — Юрку самого захватила такая перспектива человечества. Он встал и начал ходить по избе. — Мы же еще не знаем, сколько таких планет, похожих на Землю! А их, может, миллионы! И везде живут существа. И мы будем летать друг к другу... И получится такое... мировое человечество. Все будем одинаковые.

— Жениться, што ли, друг на дружке будете?

— Я говорю — в смысле образования! Может, где-нибудь есть такие человекоподобные, что мы все у них поучимся. Может, у них все уже давно открыто, а мы только первые шаги делаем. Вот и получится тогда то самое царство Божие, которое религия называет — рай. Или ты, допустим, захотел своих сыновей повидать прямо с печки — пожалуйста, включил видеоприемник, настроился на определенную волну — они здесь, разговаривай. Захотелось слетать к дочери, внука понянчить — лезешь на крышу, заводишь небольшой вертолет — и через какое-то время икс ты у дочери... А внук... ему сколько?

— Восьмой, однако.

— Внук тебе почитает «Войну и мир», потому что развитие будет ускоренное. А медицина будет такая, что люди будут до ста — ста двадцати лет жить.

— Ну, это уж ты... приврал.

— Почему?! Уже сейчас эта проблема решается. Сто двадцать лет — это нормальный срок считается. Мы только не располагаем данными. Но мы возьмем их у соседей по Галактике.

— А сами-то не можете — чтоб сто двадцать?

— Сами пока не можем. Это медленный процесс. Может, и докатимся когда-нибудь, что будем сто двадцать лет жить, но это еще не скоро. Быстрее будет построить такой космический корабль, который долетит до Галактики. И возможно, там этот процесс уже решен: открыто какое-нибудь лекарство...

— Сто двадцать лет сам не захочешь. Надоест.

— Ты не захочешь, а другие — с радостью. Будет такое средство...

— «Средство»... Открыли бы с похмелья какое-нибудь средство — и то ладно. А то башка, как этот... как бачок из-под самогона.

— Не надо пить.

— Пошел ты!..

Замолчали.

Юрка сел за учебники.

— У вас только одно на языке: «будет! будет!..» — опять начал старик. — Трепачи. Ты вот — шешнаццать лет будешь учиться, а начнет человек помирать, что ты ему сделаешь?

¹ Форму слова «туда» мы не воспроизводим, так как считаем опечаткой, даем нормативную форму «туда», зафиксированную в сборнике «Там, вдали».

— Вырежу чего-нибудь.
— Да если ему срок подошел помирать, чо ты ему вырежешь?

— Я на такие... дремучие вопросы не отвечаю.
— Нечего отвечать, вот и не отвечаете.
— Нечего?.. А вот эти люди!.. — сгреб кучу книг и показал. — Вот этим людям тоже нечего отвечать?! Ты хоть одну прочитал?

— Там читать нечего — вранье одно.
— Ладно! — Юрка вскочил и опять начал ходить по избе. — Чума раньше была?

— Холера?
— Ну, холера.
— Была. У нас в двадцать...
— Где она сейчас? Есть?
— Не приведи господи! Может, будет ишо...
— В том-то и дело, что не будет. С ней научились бороться. Дальше: если бы тебя раньше бешеная собака укусила, что бы с тобой было?

— Сбесился бы.
— И помер. А сейчас — сорок уколов, и все. Человек живет. Туберкулез был неизлечим? Сейчас, пожалуйста: полгода — и человек как огурчик! А кто это все придумал? Ученые! «Вранье»... Хоть бы уж помалкивали, если не понимаете.

Старика раззадорил тоже этот Юркин наскок.

— Так. Допустим. Собака — это ладно. А вот змея укусит?.. Иде они были, доктора-то, раньше? Не было. А бабка, бывало, пошепчет — и как рукой смет. А вить она институтов никаких не кончала.

— Укус был не смертельный. Вот и все.
— Иди поставь: пусть она разок чикнет куда-нибудь...

— Пожалуйста! Я до этого укол сделаю, и пусть кусает сколько влезет — я только улыбнусь.

— Хвастунишка.

— Да вот же они, во-от! — Юрка опять показал книги. — Люди на себе проверяли! А знаешь ты, что когда академик Павлов помирал, то он созвал студентов и стал им диктовать, как он помирает.

— Как это?

— Так. «Вот, говорит, сейчас у меня холодеют ноги — записывайте». Они записывали. Потом руки отнялись. Он говорит: «Руки отнялись».

— Они пишут?

— Пишут. Потом сердце стало останавливаться, он говорит: «Пишите». Они плакали и писали. — У Юрки у самого защипало глаза от слез. На старика рассказ тоже произвел сильное действие.

— Ну?..

— И помер. И до последней минуты все рассказывал, потому что это надо было для науки. А вы с этими с вашими бабками еще бы тыщу лет в темноте жили... «Раньше было! Раньше было!» Вот так было раньше?! — Юрка подошел к розетке, включил радио. Пела певица. — Где она? Ее же нет здесь!

— Кого?

— Этой... кто поет-то.

— Да это по проводам...

— Это — радиоволны! «По проводам». По проводам — это у нас здесь, в деревне только. А она, может, где-нибудь на Сахалине поет — что, туда провода протянуты?

— Провода. Я в прошлом году ездил к Ваньке, видал: вдоль железной дороги провода висят. На столбах.

Юрка махнул рукой:

— Тебе не втолковать. Мне надо уроки учить. Все.

— Ну и учи.

— А ты меня отрывает. — Юрка сел за стол, зажал ладонями уши и стал читать.

Долго в избе было тихо.

— Он есть на карточке? — спросил старик.

— Кто?

— Тот ученый, помирал-то который.

— Академик Павлов? Вот он.

Юрка подал старику книгу и показал Павлова. Старик долго и серьезно разглядывал изображение ученого.

— Старенький уж был.

— Он был до старости лет бодрый и не напивался, как... некоторые. — Юрка отнял книгу. — И не валялся потом на печке, не матерился. Он в городки играл до самого последнего момента, пока не свалился. А сколько он собак прирезал, чтобы рефлексы доказать!.. Нервная система — это же его учение. Почему ты сейчас хвораешь?

— С похмелья, я без Павлова знаю.

— С похмелья-то с похмелья, но ты же вчера оглушил свою нервную систему, затормозил, а сегодня она... распрямляется. А у тебя уж условный рефлекс выработался: как пенсия, так обязательно поллитра. Ты уже не можешь без этого. — Юрка ощутил вдруг некое приятное чувство, что он может спокойно и убедительно доказывать старику весь вред и все последствия его выпивок. Старик слушал. — Значит, что требуется? Перебороть этот рефлекс. Получил пенсию на почте. Пошел домой... И ноги у тебя сами поворачивают в сельмаг. А ты возьми пройди мимо. Или совсем другим переулком пройди.

— Я хуже маяться буду.

— Раз помаешься, два, три — потом привыкнешь. Будешь спокойно идти мимо сельмага и посмеиваться.

Старик привстал, свернул трясущимися пальцами сигарку, прикурил. Затянулся и закашлялся.

— Ох, мать твою... Кхох!.. Аж выворачивает все-го. Это ж надо так!

Юрка сел опять за учебники.

Старик кряхтя слез с печки, надел пимы, полушубок, взял нож и вышел в сенцы.

«Куда это он?» — подумал Юрка.

Старика долго не было. Юрка хотел уж было идти посмотреть, куда он пошел с ножом. Но тот пришел сам, нес в руках шмат сала в ладонь величиной.

— Хлеб-то есть? — спросил строго.

— Есть. А что?

— На, поешь с салом, а то загнешся загода со своими академиками... пока их изучишь всех.

Юрка даже растерялся.

— Мне же нечем отдавать будет — у нас нету...

— Ешь. Там чайник в печке — ишо горячий, на-верно... Поешь.

Юрка достал чайник из печки, налил в кружку теплого еще чая, нарезал хлеба, ветчины и стал есть. Старик с трудом залез опять на печь и смотрел отту-да на Юрку.

— Как сало-то?

— Вери вел! Первый сорт.

— Кормить ее надо уметь, свинью-то. Одни сду-ру начинают ее напичкивать осенью — получается одно сало, мяса совсем нет. Другие наоборот — ма-ринуют: дескать, мясистее будет. Одно сало-то не все любят. Заколют: ни мяса, ни сала. А ее надо так: не-дельку покормить как следовало, потом поддержать впроголодь, опять недельку покормить, опять пома-риновать... Вот оно тогда будет слоями: слой сала, слой мяса. Солить тоже надо уметь...

Юрка слушал и с удовольствием уписывал мерзлое душистое сало, действительно на редкость вкусное.

— Ох, здорово! Спасибо.

— Наелся?

— Ага. — Юрка убрал со стола хлеб, чайник. Са-ло еще осталось. — А это куда?

— Вынеси в сени, на кадушку. Вечером ишо поешь.

Юрка вынес сало в сени. Вернулся, похлопал себя по животу, сказал весело:

— Теперь голова лучше будет соображать... А то... это... сидишь — маленько кружится.

— Ну вот, — сказал довольный дед, укладываясь опять на спину. — Ох, мать твою в душеньку!.. Как ляжешь, так опять подступает.

— Может, я пойду куплю четвертинку? — пред-ложил Юрка.

Дед помолчал.

— Ладно... пройдет так. Потом, попозже, курям посыпеш да коровенке на ночь пару навильников дашь. Воротчики только закрыть не забудь.

— Ладно. Значит, так: что у нас еще осталось? География. Сейчас мы ее... галопом. — Юрке сдела-лось весело: поел хорошо, уроки почти готовы — ве-чером можно на лыжах покататься.

— А у его чо же родных-то никого, што ли, не было? — спросил вдруг старик.

— У кого? — не понял Юрка.

— У того академика-то. Одни студенты стояли?

— У Павлова-то? Были, наверно. Я точно не знаю. Завтра спрошу в школе.

— Дети-то были, поди?

— Наверно. Завтра узнаю.

— Были, конечно. Никого если бы не было родных-то, не много надиктуешь. Одному-то плохо.

Юрка не стал возражать. Можно было сказать: а студенты-то! Но он не стал говорить.

— Конечно, — согласился он. — Одному плохо.

Сураз

Спирьке Расторгуеву — тридцать шестой, а на вид двадцать пять, не больше.

Он поразительно красив; в субботу ходит в баню, пропарится, стащит с себя недельную шоферскую грязь, наденет свежую рубаху — молодой бог! Глаза ясные, умные... Женственные губы ало цветут на смуглом лице. Сросшиеся брови, как два вороньих крыла, размахнулись в капризном изгибе. Черт его знает!.. Природа, кажется, иногда шутит. Ну зачем ему! Он и сам говорит: «Это мне — до фени». Ему все «до фени». Тридцать шесть лет — ни семьи, ни хозяй-ства настоящего. Знает свое — матерщинничать да к одиноким бабам по ночам шастать. Шастает ко всем подряд, без разбора. Ему это — тоже «до фени». Как назло кому: любит постарше и пострашней.

— Спирька, дурак ты, хоть рожу свою пожалей! К кому поперся — к Лизке корявой, к терке!.. Не-ужели не совестно?

— С лица воду не пить, — резонно отвечает Спирька. — Она — терка, а душевней всех вас.

Жизнь Спирьки скособочилась рано. Еще только был в пятом классе, а уж начались с ним всякие исто-рии. Учительница немецкого языка, тихая, обидчи-вая старушка из эвакуированных, пристально рас-сматривая Спирьку, говорила с удивлением:

— Байрон!.. Это поразительно, как похож!

Спирька возненавидел старушку.

Только подходило «Анна унд Марта баден», у него болела душа — опять пойдет: «Нет, это поразитель-но!.. Вылитый маленький Байрон». Спирьке это на-доело. Однажды старушка завела по обыкновению:

— Невероятно, никто не поверит: маленький Бай...

— Да пошла ты к... — И Спирька загнул такой мат, какого постеснялся бы пьяный мужик.

У старушки глаза полезли на лоб. Она потом го-ворила:

— Я не испугалась, нет, я была санитаркой в че-тырнадцатом году, я много видела и слышала... Но меня поразило: откуда он-то знает такие слова?! А какое прекрасное лицо!.. Боже, какое у него ли-цо — маленький Байрон!

«Байрона» немилосердно выпорола мать. Он от-лежался и двинул на фронт. В Новосибирске его

поймали, вернули домой. Мать опять жестоко избивала его... А ночью рвала на себе волосы и выла над сыном; она прижила Спирьку от «проезжего молодца» и болезненно любила и ненавидела в нем того молодца: Спирька был вылитый отец, даже характером сшибал, хоть в глаза не видал его.

В школу он больше не пошел, как мать ни билась и чем только ни лупила. Он пригрозил, что прыгнет с крыши на вилы. Мать отступилась. Спирька пошел работать в колхоз.

Рос дерзким, не слушался старших, хулиганил, дрался... Мать вконец измучилась с ним и махнула рукой.

— Давай, может, посадят.

И, правда, посадили. После войны. С дружкой, таким же отпетым «чухонцем», перехватили на тракте сельповскую телегу из соседнего села, отняли у возчика ящик водки... Справились с мужиком! Да еще всыпали ему. Сутки гуляли напропалую у Спирькиной «марухи»... И тут их накрыла милиция. Спирька успел схватить ружье, убежал в баню, и его почти двое суток не могли взять — отстреливался. К нему подсылали «маруху» его, Верку тараторку, — уговорить сдаться добром. Шалаболка Вера тайком, под подолом, отнесла ему бутылку водки и патронов. Долго была там с ним... Вышла и объявила гордо:

— Не выйдет к вам!

Спирька стрелял в окошечко и пел:

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пошады никто не желает!

— Спирька, каждый твой выстрел — лишний год! — кричали ему.

— Считайте — сколько?! — отвечал Спирька. И из окошечка брызгал стремительный длинный огонь, гремело. Потом он протрезвился, смертельно захотел спать... Выкинул ружье и вышел.

Пять лет «пыхтел».

Пришел — такой же размашисто-красивый, дерзкий и такой же неожиданно добрый. Добротой своей он поражал, как и красотой. Мог снять с себя последнюю рубашку и отдать — если кому нужна. Мог в свой выходной поехать в лес, до вечера пластаться там, а к ночи привезти машину дров каким-нибудь одиноким старикам. Привезет, сгрузит, зайдет в избу.

— Да чего бы тебе, Спиренька, андел ты наш?.. Чего бы тебе за это? — суется старики.

— Стакан водяры. — И смотрит с любопытством. — Что, ничего я мужик?

Пришел Спирька из тюрьмы... Дружков — никого, разехались, «марухи» замуж повыходили. Думали, уедет и он. Он не уехал. Малость погулял, отдал деньги матери, пошел шоферить.

Так жил Спирька.

В село Ясное приехали по весне два новых человека, учителя: Сергей Юрьевич и Ирина Ивановна Зеленецкие — муж и жена. Сергей Юрьевич — учитель физкультуры, Ирина Ивановна — пения.

Сергей Юрьевич — невысокий, мускулистый, широченный в плечах... Ходил упруго, легко прыгал, кувиркался; любо глядеть, как он серьезно, с увлечением проделывал упражнения на турнике, на брусьях, на кольцах... У него был необычайно широкий добрый рот, толстый, с нашлепкой нос и редкие, очень белые, крупные зубы.

Ирина Ивановна — маленькая, бледненькая, подевичьи стройная. Ничего вроде бы особенного, а скинет в учительской плашик, пройдет, привстанет на цыпочки, чтобы снять со шкафа тяжелый аккордеон, — откуда ладность явится, изящность. Невольно засматривались на нее.

Такая-то пара (было им по тридцать — тридцать два года) приехала в Ясное в хорошие теплые дни в конце апреля. Их поселили в большом доме, к старикам Прокудиным.

Первым, кто пришел навестить приезжих, был Спирька. Он и раньше всегда ходил к новым людям. Придет, посидит, выпьет с хозяевами (кстати сказать, Спирька, хоть пил, допьяна напивался редко), поговорит и уйдет.

Было под вечер. Спирька умылся, побрился, надел выходной костюм и пошел к Прокудиным.

— Пойду гляну, что за люди, — сказал матери.

Старики Прокудины вечеряли.

— Садись, Спиридон, похлебай. — Спирька иногда помогал старикам, они любили его и жалели.

— Спасибо, я из-за стола. Дома ваши квартиранты?

— Там. — Старик кивнул на дверь горницы. — Укладываются.

— Как они?

— Ничо, уважительные. Сыру с колбасой вот дали. Садись, попробуй?

Спирька качнул головой, пошел в горницу. Стукнул в дверь:

— Можно?

— Войдите! — пригласили за дверью.

Спирька вошел.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте! — сказали супруги. И невольно засмотрелись на Спирьку. Так было всегда.

Спирька пошел знакомиться.

— Спиридон Расторгуев.

— Сергей Юрьевич.

— Ирина Ивановна. Садитесь, пожалуйста.

Пожимая теплую маленькую ладошку Ирины Ивановны, Спирька открыто, с любопытством оглядел всю ее. Ирина Ивановна чуть поморщилась от рукопожатия, улыбнулась, почему-то поспешно отняла руку, поспешно повернулась, пошла за сту-

лом... Несла стул, смотрела на Спирьку не то что удивленная — очень заинтересованная.

Спирька сел.

Сергей Юрьевич смотрел на него.

— С приездом, — сказал Спирька.

— Спасибо.

— Пришел попроведовать, — пояснил гость. —

А то пока наш народ раскачается, засохнуть можно.

— Необщительный народ?

— Как везде: больше по своим углам.

— Вы здешний?

— Здешний. Чалдон.

— Сережа, я стоговлю чего-нибудь?

— Давай! — охотно откликнулся Сережа и опять весело посмотрел на Спирьку. — Вот со Спиридоном и отпразднуем наше новоселье.

— Стаканчик можно пропустить, — согласился Спирька. — Откуда будете?

— Не очень далеко.

Ирина Ивановна пошла в комнату стариков; Спирька проводил ее взглядом.

— Как жизнь здесь? — спросил Сергей Юрьевич.

— Жизнь... — Спирька помолчал, но не искал слова, а жалко вдруг стало, что не будет слышать, как он скажет про жизнь, эта маленькая женщина, хозяйка. — Человек, он ведь как: полосами живет. Полоса хорошая, полоса плохая... — Нет, не хотелось говорить. — А зачем она пошла-то? Сказать старикам, они сделают что надо.

— Зачем же? Она сама хозяйка. Так какая же у вас теперь полоса?

— Так — середка на половине. Ничего вообще-то... — Ну решительно не хотелось говорить, пока она там готовит эту дурацкую закуску. — Закурить можно?

— Курите.

— Учительствовать?

— Да...

— Она по кому учитель?

— По пению.

— Что, поет хорошо? — оживился Спирька.

— Поет...

— Может, споет нам?

— Ну... попросите, может, споет.

— Пойду скажу старикам... Зря она там!

И Спирька вышел из горницы.

Вернулись вместе — Ирина Ивановна и Спирька. Ирина Ивановна несла на тарелочке сыр, колбасу, сало...

— Я согласилась не делать горячего, — сказала она.

— Хорошо, что согласилась.

— Да на кой оно!.. — чуть не сорвался Спирька на привычное определение. — Милое дело — огурец да кусок сала! Верно? — Спирька глянул на хозяйку.

— Тебе лучше знать, — резковато сказал Сергей Юрьевич.

Спирьку обрадовало, что хозяин перешел на «ты» — так лучше. Он не заметил, как переглянулись супруги: ему стало хорошо. Сейчас — стаканчик водки, — а там видно будет.

Вместо водки на столе появился коньяк.

— Я сразу себе стакан, потом — ша: привык так. Можно?

Спирьке любезно разрешили.

Спирька выпил коньяк, взял маленький кусочек колбасы...

— Вот... — поежился. — Достали слой вечной мерзлоты, как говорят.

Супруги выпили по рюмочке. Спирька смотрел, как вздрагивало нежное горлышко женщины. И — то ли коньяк так сразу, то ли кровь — кинулось что-то тяжелое, горячее к сердцу. До зуда в руках захотелось потрогать это горлышко, погладить. Взгляд Спирьки посветлел, поумнел... На душе захорошело.

— Мечтяк коньячишко, — похвалил он. — Дорогой только.

Сергей Юрьевич засмеялся; Спирька не замечал его.

— Милое дело — самогон, да? — спросил Сергей Юрьевич. — Дешево и сердито.

«Что бы такое сказать веселое?» — думал Спирька.

— Самогон теперь редко, — сказал он. — Это в войну... — И вспомнились далекие трудные годы, голод, непосильная, недетская работа на пашне... И захотелось обо всем этом рассказать весело. Он вскинул красивую голову, в упор посмотрел на женщину, улыбнулся:

— Рассказать, как я жил?

Ирина Ивановна поспешно отвела от него взгляд, посмотрела на мужа.

— Расскажи, расскажи, Спиридон, — попросил Сергей Юрьевич. — Это интересно — как ты жил.

Спирька закурил.

— Я — сураз, — начал он.

— Как это? — не поняла Ирина Ивановна.

— Мать меня в подоле принесла. Был в этих местах один ухарь. Кожи по краю ездил собирал, заготовитель. Ну, заодно и меня заготовил.

— Вы знаете его?

— Ни разу не видал. Как мать забрюхатела, он к ней больше глаз не казал. А потом его за что-то арестовали — и ни слуху ни духу. Наверно, вышку навели. Ну, и стал я, значит, жить-поживать... — И так резко, как захотелось весело рассказать про свою жизнь, так — сразу — расхотелось... Мало веселого... Про лагерь, что ли? Спирька посмотрел на Ирину Ивановну, и в сердце опять толкнулось неодолимое желание: потрогать горлышко женщины, погладить.

Он поднялся.

— Мне в рейс. Спасибо за угощение.

— Ночью в рейс? — удивилась Ирина Ивановна.

— У нас бывает. До свиданья. Я к вам еще приду. Спирька, не оглянувшись, вышел из горницы.

— Странный парень, — сказала жена после некоторого молчания.

— Красивый, ты хотела сказать?

— Красивый, да.

— Красивый... Знаешь, он влюбился в тебя.

— Да?

— И тебя, кажется, поскребло по сердцу. Поскребло?

— С чего ты взял?

— Поскребло-о.

— Тебе хочется, чтобы поскребло?

— А что?.. Только... не получится у тебя.

Женщина посмотрела на мужа.

— Испугаешься, — сказал тот. — Для этого нужно мужество.

— Перестань, — сказала жена серьезно. — Чего ты?

— Мужество и, конечно, сила, — продолжал муж. — Надо, так сказать, быть в форме. Вот он — смеет. Между прочим, он сидел в тюрьме.

— Почему ты решил?

— Не веришь? Иди спроси у стариков.

— Если тебе нужно, иди спрашивай.

— А что?..

Муж вышел к старикам.

Через пять минут вернулся... И с наигранной торжественностью объявил:

— Пять лет! В лагерях строгого режима. За грабеж.

Отсыревший к вечеру, прохладный воздух хорошо свежил горячее лицо. Спирька шел, курил. Захотелось вдруг, чтоб ливанул дождь — обильный, чтоб резалось небо огневыми зубринами, гремело сверху... И тогда бы — заорать, что ли.

Спирька направился в очередное «логово» — к Нюре Завьяловой.

Стукнул в окно.

— Ну? — недовольно спросила заспанная Нюра, смутно, белым пятном маяча за окном.

Спирька молчал, думал про Нюру: один раз, в войну, когда Нюре тогда было двадцать три и она была вдовой с двумя маленькими ребятишками, Спирька (ему тогда шел четырнадцатый) ночью сбросил с воза в огород к ней мешок зерна (ехали обозом в город молоть). Нюре стукнул вот в это, кажется, окно и сказал торопливо:

— Найди в огороде, у бани... Спрячь подальше!

А когда через два дня, тоже ночью, пришел к Нюре, она накинулась на него:

— Ты што, Спирька, змей полосатый, в тюрьму меня захотел посадить?! Сам хочешь сытый ходить, а к другим подбрасываешь?..

Спирька опупел.

— Да не себе я, чего ты разоралась-то!

— Кому же?

— Тебе. Им же исть надо! — Про детей Нюриных. — Голодные же сидят...

Нюра заревела коровой, бросилась обнимать Спирьку. Спирька, расстроенный, матерился.

— Ну, и вот!.. Будешь им в ступке толочь да лепешки в золе печь — вкуснятина, сил нет...

Вот что вспомнилось вдруг.

— Чего стоишь-то? — спросила Нюра. — Дверь открыта... Стариков не разбуди.

Спирька стоял. Было в его характере какое-то жестокое любопытство: что она сейчас будет делать?

— Спирька!.. Ну, чего ты?

Молчание.

— Иди, что ли?

Молчание.

— Дурак заполошный... Разбудит, а потом начинает... Ну и иди к черту! — Нюра пошла к кровати.

Спирька неслышно прокрался по прихожей избе, где храпели старики Нюрины, и очутился в горнице.

— Чего выкобениваешься-то?

Спирьке нестерпимо стало жаль Нюру.. Какого черта, действительно? Лучше не приходиться тогда.

— Всё, Нюрок, спим.

Через три дня, вечером, Спирька пошел к Прокудиным. Квартирантов не было дома. Спирька побеседовал пока со стариками. Рассказал, что одному солдату явилась земная Божья мать...

Пришла Ирина Ивановна. Одна. Свеженькая: внесла в избу прохладу вечерней весенней улицы. Удивилась и, как показалось Спирьке, обрадовалась.

Спокойный, решительный, Спирька прошел в горницу.

— Букетик, — предложил он. И подал женщине кроваво-красный пылающий букетик жарков.

— Ах!.. — обрадовалась женщина. — Ах, какие они! Как они называются? Я таких никогда не видела...

— Жарки. — В груди у Спирьки весело зазвенело. Так бывало, когда предстояло драться или обнимать желанную женщину. Он не скрывал любви. — Я вам теперь часто буду такие привозить.

— Да нет, зачем же?.. Это ведь — труд лишний...

— Ох, — скокетничал Спирька, — труд! Мимо ежжу, их там хоть литовкой коси... — Спирька подумал, что хорошо все-таки, что он красивый. Другого давно бы уж поперли, и все. Он улыбался, ему было легко.

Женщина тоже засмеялась и смутилась. Спирька наслаждался: как в знойный-знойный день пил из ключа студеную воду, погрузив в нее все лицо. Пил и пил — и по телу огоньком разливался томительный жар. Он взял женщину за руку... Как во сне! — только бы не просыпаться.

Женщина хотела отнять руку... Спирька не выпустил.

— Зачем вы?.. Не нужно.

— Почему не нужно? — Все, что умел Спирька, все, что безотказно всегда действовало на других женщин, все хотел бы он обрушить сейчас на это дорогое, слабое существо. Он молил в душе: «Господи, помоги! Пусть она не брыкается!» Он повлек к себе женщину... Он видел, как расширились ее близкие,

удивленные глаза. Теперь — чтоб не дрогнула, не ослабла рука... «Господи, мне больше пока ничего не надо — поцелую и все». И поцеловал. И погладил белоснежное горлышко... И еще поцеловал мягкие податливые губы. И тут вошел муж... Спирька не слышал, как он вошел. Увидел, как вскинулась голова женщины, и испуг плеснулся в ее глазах... Спирька услышал за спиной насмешливый голос:

— Те же. И муж.

Спирька отпустил женщину. Не было ни стыдно, ни страшно. Жалко было. Такая досада взяла на этого опрятного, подтянутого, уверенного человека... Хозяин пришел! И все у них есть, у дьяволов, везде они — желанные люди. Он смотрел на мужа.

— Лихой парень! Ну, как, удалось что-нибудь? — Сергей Юрьевич хотел улыбнуться, но улыбки не вышло, только нехорошо сузились глаза, и толстые губы обиженно подражали. Он посмотрел на жену. — Что молчите? Что побледнела?! — Крик — злой, резкий — как бичом стегнул женщину. — Шлюха!.. Успела? — Муж шагнул к ней...

Спирька загородил ему дорогу. Вблизи увидел, как полыхают темные глаза его обидой и гневом... И еще уловил Спирька тонкий одеколониный холодок, исходивший от гладко выбритых щек Сергея Юрьевича.

— Спокойно, — сказал Спирька.

В следующее мгновение сильная короткая рука влекла Спирьку из горницы.

— Ну-ка, красавец, пойдем!..

Спирька ничего не мог сделать с рукой: ее как приварили к закрывку, и крепость руки была какая-то нечеловеческая, точно шатуном толкали сзади.

Так проволокли Спирьку через комнату стариков; старики во все глаза смотрели на квартиранта и на Спирьку.

— Кота пакостливого поймал, — пояснил квартирант.

Ужас, что творилось в душе Спирьки!.. Стыд, боль, злорада — все там перемешалось, душило.

— Пидор, гад, — хрипел Спирька, — что ты делаешь?..

Вышли на крыльцо... Шатун сработал, Спирька полетел вниз с высокого крыльца и растянулся на сырой соломенной подстилке, о которую вытирают ноги. «Убью», — мелькнуло в Спирькиной голове.

Сергей Юрьевич спускался к нему...

— Вставай.

Спирька вскочил до того, как ему велели... И тотчас опять полетел на землю. И с ужасом и с брезгливостью понял: «Он же бьет меня!» И опять вскочил и хотел скользнуть под чудовищный шатун — к горлу физкультурника. Но второй шатун коротко двинул его в челюсть снизу. Спирьку бросило назад; он почувствовал медь во рту. Опять бросился на учителя... Он умел драться, но ярость, боль, позор, сознание

своей беспомощности перед шатунами — это лишило его былой ловкости, спокойствия. Слепая ярость бросала и бросала его вперед, и шатуны работали. Кажется, он ни разу так и не достал учителя. От последнего удара он не встал. Учитель склонился над ним.

— Я тебя уработаю, — неразборчиво, слабо, серьезно сказал Спирька.

— Будем считать, что это урок вежливости. Лагерные штучки надо бросать. — Учитель говорил не зло, тоже серьезно.

— Я убью тебя, — повторил Спирька. Во рту была какая-то болезненная мешанина, точно он изгрыз флакон с одеколоном — все там изрезал и обжег. — Убью, знай.

— За что? — спокойно спросил учитель. — За что ты меня убьешь?.. Подлец.

Учитель ушел в дом, захлопнув за собой дверь, и задвинул железную щеколду.

Спирька попробовал встать, не мог. Голова гудела, но думалось ясно. Он знал, как с крыши прокудинского дома — через лаз — можно спуститься в кладовку. Кладовка не запиралась: шпагатная веревочка накидывалась петелькой на гвоздик, и все, чтоб дверь сама не открывалась. Дверь в избу стариков тоже никогда не запирается на ночь. В горнице запора и вовсе нет. Он потому так хорошо все знал в доме Прокудиных, что сын их, Мишка, был смолоду товарищ Спирьки, и Спирька часто бывал и даже ночевал у них. Теперь Мишки не было, но все, конечно, осталось у стариков, как раньше.

С трудом наконец Спирька поднялся, подержался за стену дома... Пошел к реке. Силы возвращались.

Он умыл разбитое лицо, оглядел со спичками костюм, рубашку... Не надо, чтобы мать увидела кровь и заподозрила неладное, когда он станет брать ружье. Ружье можно взять под любым предлогом: ехать с семенным зерном в глубинку, а утром посидеть там у озера.

Мать спала уже.

— Ты, Спирька? — спросила она сонным голосом с печки.

— Я. Спи. Мне ехать надо.

— Достань в печке — картошка жареная, в сенцах молоко... Поешь на дорогу-то.

— Ладно, я с собой возьму. — Спирька, не зажигая огня, тихо снял со стены ружье, повозился для блезира в сенях. Зашел в избу (ружье в сенях оставил). Стал на припечек, нашел впотьмах голову матери, погладил по жидким теплым волосам. Он, бывало, выпивши ласкал мать; она не встревожилась.

— Выпимши... Как поедешь-то? — Мать с годами больше и больше любила Спирьку, жалела, стыдилась, что он никак не заведет семью — все не как у добрых людей! — ждала, может, какая-нибудь самостоятельная вдова или разведенка прибьется к ихнему дому.

— Ничего, поеду.

— Ну, Христос с тобой. — Мать во тьме перекрестила его. — Потихе хоть ехай-то, а то гоните как чумные.

— Все будет хорошо. — Спирька бодрился, а хотелось скорей уйти и как-нибудь забыть про мать: вот кого больно оставлять в этой жизни — мать.

Он шел темной улицей, крепко сжимал в руке тулку. Все хотелось отвязаться от мысли о матери. Не выживет она. Как поведут его, связанного, как увидит... Спирька прибавил шаг. «Господи, дай ей силы перенести», — молил. Он чуть не бежал. А под конец и побежал. И волновался, как вроде не убивать бежал, а в постель к Ирине Ивановне, в тепло и согласие. Она вставала в глазах, Ирина Ивановна, но как-то сразу и уходила. Губы ее, мягкие, полураскрытые, помнились, но насладиться воспоминанием мешал вкус крови во рту и... одеколонистый холодок с гладких щек Сергея Юрьевича. Холодок этот запашистый почему-то вспоминался сейчас. Спирька бежал и подпевал негромко для бодрости:

Неужели конь вороной
Перекусит удила?
Неужели моя милая...

Дом весь темный. «Так, так, так, — мысленно, скоро говорил сам с собой Спирька. — Берем лестницу... Ставим ее, в душеньку ее... Спокойно». Он благополучно проник в кладовку, прислушался — тихо. Только сердце наколачивает в ребра. «Спокойно, Спиря!» Шпагатинка тоже почти бесшумно лопнула, только гвоздик, спружинив, тоненько тенькнул. Спирька, выставив вперед свободную руку, неслышно прошел по сеням, легкими касаниями по стене нашарил дверь. «Так, так...» Склонился, подцепил пальцами низ двери, сколько мог, приподнял ее и дернул на себя. Дверь открылась с тихим приятным вздохом: «п-ах». И дальше отошла беззвучно. Пахнуло старушечьим жильем, отсыревшим полушубком, теплой печкой, тестом... Вот тут его давеча волокли за шкуру. Пронеси, господи, — чтоб старики не проснулись. Страшно стало: что-нибудь сейчас помешает! «Ах, как он меня бил! Как бил!.. Умеет».

Спирька сам удивлялся своей легкости, ловкости. Сам себя не слышал. Нащупал дверь горницы, тоже приподнял ее снизу... Дверь скрипнула. Спирька быстро, бережно прикрыл ее за собой... Он был в горнице! Во тьме горницы, слабо разбавленной светом уличной лампочки, скрипнула кровать. Спирька нашел на стене выключатель, щелкнул. На него, сидя в кровати, смотрел Сергей Юрьевич. Приподнялась Ирина Ивановна... Сперва уставилась на мужа, потом, от его взгляда, — на Спирьку с ружьем. Безмолвно открыла рот... Спирька понял, что Сергей Юрьевич не спал — очень уж понимающе, неподвижно смотрел он своими темными глазами.

— Я предупреждал: я тебя уработаю, — сказал Спирька. Хотел оттянуть курок двустволки, но они были уже взведены. (Когда же взвел?) — Помнишь? Я тебе говорил.

Спирьку не взволновало, что Ирина Ивановна сидит в нижней рубашке, что одна ленточка съехала с плеча, и грудка, матово-белая, крепенькая, не кормившая детей, вся видна до соска.

Супруги молчали. Смотрели на Спирьку.

— Вылазь из кровати, — велел Спирька.

— Спиридон... тебе же будет расстрел, неужели...

— Я знаю. Вылазь.

— Спиридон! Неужели...

— Вылазь!

Сергей Юрьевич спрыгнул с кровати — в трусах, майке. Спирька вскинул ружье.

Сергей Юрьевич мертвенно побледнел...

И тут вдруг закричала Ирина Ивановна, да так ужасно, так громко, неистово, требовательно, так не похоже на себя — такую маленькую, умненькую, с теплыми мягкими губами — так-то уж совсем нечеловечески горько, отчаянно. И свалилась с кровати, и поползла, протягивая руки...

— Не надо! О-о-о-й!! Не надо! О-о-й!! — И хотела схватить за ружье — на коленях — хотела...

Тут Сергей Юрьевич прыгнул на Спирьку, широко расставив руки. И, получив удар прикладом в грудь, свалился.

— Родно-ой!.. Не надо! — выла маленькая женщина. Похоже, что она забыла имя Спирьки. — О-о-й!..

В избе, за дверью, всполошились старики, тоже заорали.

— Не надо!! — кричала женщина, и мотала головой, и все хотела обнять его ноги, и ползала без трусов — рубашка сбилась ей на спину, она не замечала того — все хотела поймать ноги Спирьки.

Спирька растерялся, отпихивал женщину... И как-то ясно вдруг понял: если он сейчас выстрелит, то выстрел этот потом ни замолить, ни залить вином нельзя будет. Если бы она хоть не так выла!.. Сколько, однако, силы в ней!

— Мать вашу!.. — заругался Спирька.

Вышел из горницы и пошагал прочь от темного дома. Он как-то сразу вдруг очень устал. Вспомнилась мать, и он побежал, чтоб убежать от этой мысли — о матери. От всяких мыслей. Вспомнилась еще Ирина Ивановна, голенькая, и жалость и любовь к ней обожгли сердце. И легко на минуту стало — что не натворил беды. Господи, как ревела!.. А как бы потом убивалась над покойным мужем! И опять — мать... Вот кто взвоят-то! Спирька побежал скорее. Прибежал на кладбище, сел на землю. Темно было. Он приладил стволы к сердцу... Дотянулся до курков. Подумал: «Ну!.. Все?!» Пальцы нащупали две холодные тоненькие скобочки...

«Счас толканет», — опять подумал. И вдруг ясно увидел, как лежит он, с развороченной грудью, раскинув руки, глядя пустыми глазами в ясное утреннее небо... Взойдет солнце, и над ним, холодным, зажужжат синие мухи, толстые, жадные. Потом сбегутся всей деревней — смотреть. Кто-нибудь скажет: «Надо прикрыть, что ли». Как... Тьфу! Спирька содрогнулся. Сел. «Погоди-ка, милоч, погоди. Погоди, погоди. Стой, фраер, не суетись! Я тебя спрашиваю: в чем дело? Господи! — отметелили. Тебя что, никогда не били? В чем же дело?!»

— В чем дело? — спросил вслух Спирька. — А? — брезгливо, с опаской отстранил от себя стволы, перехватил ружье, осторожно спустил курки. Глубоко и радостно вздохнул. И заговорил громко, дурашливо, испытывая большое облегчение и радость.

— В чем дело, Спирия? А? А-я-я-я-й! Как же так? Побили мальчика? Побили... Больно, да? Хотел себе в лобик — пук!.. Ну и фраер! — Спирька даже засмеялся и схватился за губу: губы треснули от учителява рычага, стало больно, когда засмеялся. — Что ты? Что ты? Что ты? (Разбитый рот выговаривал: «Фто ты? Фто ты?») Разве так можно? А-я-я-я-й! Нехорошо. Ну, побили... а ты сразу... стреляться. О-о!

Спирька лег спиной на прохладную землю, раскинул руки... Вот так он завтра лежал бы. Там, где сейчас стучит сердце, — Спирька приложил ладонь к груди, — здесь была бы рваная дыра от двух зарядов — больше шапки. Может, загорелся бы, и истлели бы пиджак и рубаха. Голый лежал бы... О, курва, смотреть же противно! Спирька сел, закурил, с наслаждением затянулся. Так торопился засадить в себя эти два заряда, что и покурить напоследок не догадался. Даже те, кого расстреливают, Спирька слышал, просят покурить в последний раз. Вспомнилась маленькая девочка, племянница Спирики: когда она чувствует, что отцу надоело уже возить ее на горбу, она смешно-просительно морщит мордочку и говорит: «Посений язок! Ну посений язочек!» Спирька засмеялся, вспомнив девочку. Опять лег, курил, смотрел на звезды; и показалось, что они чуть звенят в дрожи — тонким-тонким звоном; и ему тоже захотелось тихо-тихо, пощеньчи, поскулить... Он зажмурился и почувствовал, как его плавно, мощно несет земля. Спирька вскочил. Надо что-то делать, надо что-нибудь сделать. «Что-нибудь я сейчас сделаю!» — решил он. Он подобрал ружье и скоро пошагал... сам не зная куда. Только прочь с кладбища, от этих крестов и молчания. Он стал вслух, незло материть покойников.

— Лежите?... Ну и лежите! Лежите — такая ваша судьба. При чем тут я-то? Вы лежите, а я малость еще побегая по земле. Покружусь.

Теперь он хотел убежать от мысли о кладбище, о том, как он лежал там... Он хотел куда-нибудь прибежать, к кому-нибудь. Может, рассказать все... Может, посмеяться. Выпить бы! А где теперь? Как где?

А Верка-буфетчица из чайной? Э-э, там же всегда есть! Там, кстати, можно и переночевать.

Спирька свернул в переулок.

Вера сперва заворчала: вот — ни днем, ни ночью... Спирька зажег спичку и осветил свое лицо.

— Ты глянь, меня же чуть было не убили, а ты капитальней развела.

Вера испугалась. Спирька тихонько засмеялся, довольный.

— Да где эт тебя так?! — спросила Вера.

— В одном месте... Славно уделали?

— Господи, Спирька!.. Добьют тебя когда-нибудь. Где был-то?

— Не скажу. Секрет.

Прошли в Верину комнату. Вера задернула плотней занавески, зажгла свет. Еще раз оглядела Спирьку... Потрогала теплой ладошкой, пахнущей кремом, горячие ссадины на его лице.

— Ой! — притворно воскликнул Спирька. Опять засмеялся и стал ходить по комнате.

Славный это народ, одинокие женщины! Почему-то у них всегда уютно, хорошо. Можно размашисто походить, если не скрипит пол. Можно подумать... Можно, между делом, приласкать хозяйку, погладить по руке... Все кстати, все умно. Они вздрагивают с непривычки и смотрят ласково, пылливо. Милые. Добрые. Жалко их.

Вера нашла бутылку водки. Сходила даже в погребушку, принесла огурцов. Только вернулась испуганная...

— Там у тебя что, ружье, что ли? Я запнулась...

— Ружье. Пусть стоит.

— А зачем ружье-то?

— Да так.

— Спирька... ты чего это?

У Веры был хороший муж, хороший мужик, помер в сорок лет. Что приключилось, бог его знает. Рак, наверно.

— Спирька!..

— Аиньки?

— Ты что... воюешь, что ли, бегаешь?

— Воюю. Вот — ранили. — Спирька опять засмеялся. Что-то смешно ему было. Хорошо было.

— Вот чудной-то. Может, убил кого?

— Нет. После убью. Потом.

— Спирька, я боюсь. Может, ты натворил чего... Тогда и меня... как свидетельницу... Ну ты к дьяволу!

— Все в порядке, дурочка. Чего ты испугалась? Никого я не убил. Меня чуть не убили... А мне надо еще придумать, как убить.

— Пей и уходи, — рассердилась Вера. — Уходи, Спирька. Мне только этого еще не хватало.

Спирька посерьезнел.

— Успокойся. Неужели я похожий на такого — невинных подводить. Что ты? Ты же знаешь меня... Я б никогда не пришел, если б... Брось,

— С ружьем по ночам носится.

Спирька выпил стакан, закусил огурцом. Вера не стала пить.

— Не хоч.

— Почему?

— Не хоч. Напугал ты меня с этим ружьем. Кто избил-то?

— Чужие какие-то. Перестань про это. Не надо. — Вспомнился учитель... Бледный, в трусах. Спирька передернул плечами, прогоняя неприятную, злую мысль. Радости поубавилось. — Ладно, ладно, ладно, — торопливо сказал он. — Не надо про это. — И еще налил полстакана, чтоб не успеть подумать еще про учительницу, чтоб не вспомнить ее. Но она вспомнилась — маленькая, полуголенькая, на смерть перепуганная... Все-таки вспомнилась.

Утром Спирька вскочил рано. Оставил ружье у Веры.

— Вечером зайду, возьму.

— А куда сам?

— На работу, куда. Это... не болтай про ружье-то.

— Ну, пошла всем рассказывать: был ночью Спирька с ружьем...

— Умница. Избили меня какие-то нездешние... На тракте. Я хотел догнать их с ружьем, не догнал.

Вера недоверчиво смотрела на Спирьку; впрочем, Спирька и не старался особенно-то казаться правдивым.

— Выпьешь?

— Нет. Будь здорова.

Спирька пошел к учителям. Шел кривыми переулками, по задворкам — чтоб меньше встретить людей. Все же двух-трех встретил. Встретил бригадира колхозного, Илью Китайцева. Илья ехидно, понимающе заулыбался издали.

— Ого! Ноченька была!

Спирька тоже широко улыбнулся, превозмогая боль, которая прокалывала иглами все лицо. Сказал:

— Была, Илюха! Была ноченька. Дай закурить.

— Чего эт?

— Так... Упал. — Стыд, позор... От стыда даже язык онемел, кончик. Тонкая Илюхина ухмылочка резала лезвием по сердцу. — Закурим, что ли?

— Закурим, закурим. Здорово упал-то... Высоко, наверно. Как же эт ты?

— Ну, Илюха... Бывает — падают. Я вот те счас залепеню, ты тоже упадешь. Что, нет, думаешь?

Илюха перестал улыбаться.

— Чего ты?

— А чего ты губы-то свои распустил? Сразу, курва, ехидничать! Не можешь без ехидства слова сказать. Дай дороги!

Нет, в деревне пока не жить. От одного позора на край света сбежишь. Будут вот так улыбаться губошлепы разные... Ах, учитель, учитель... Вот ведь как

научился руками работать! Славно, славно. Хорошо бы тебя ногами к потолку подвесить... Нет, на твоих же глазах жену твою драгоценную... исцеловать, всю, до болячки, чтобы орала. Жестокие чувства гнали Спирьку вперед, точно кто в спину подталкивал. Он не замечал, что опять он торопится. Но он знал, что сейчас не бросится на учителя, нет. Это будет потом... спокойно. Страшно. Это потом.

Вспоминая позже этот утренний разговор с учителями, Спирька не испытывал удовлетворения.

Он явился, как если бы рваный черный человек из-за дерева с топором вышагнул... Стал на пороге. Учитель был уже одет, побрит... как раз с электрической бритвой он и стоял перед зеркалом. Она жужжала около его лица. Учительница, припухшая со сна и от вчерашнего крика, миленькая, беленькая, готовила завтрак. Она тоже замерла с тарелкой в руках.

— Одно предупреждение, — деловито заговорил Спирька. — Что у нас тут случилось — никому ни звука. Старикам сами накажите. Я на время исчезаю с горизонта, но, Сергей Юрьевич, я тебя, извини, все же уработаю.

— Как это... уработаю? — глупо переспросила Ирина Ивановна.

— Я получил аванс... я его должен отработать. — Не знал Спирька, когда это произойдет, но придет он сюда однажды — спокойный, красивый, нарядный — скажет: «Я пришел платить». И что уж это будет за ситуация такая и кто такой будет сам Спирька, только учитель растеряется, станет жалким. И станет просить: «Спиридон, я был глуп, я прошу прощения...» — «Ну, ну, — скажет Спирька вежливо, — не надо сразу в штаны класть. Тут же женщина... жена ваша, она должна уважать вас».

— Какой аванс? — все никак не могла понять Ирина Ивановна. — У кого взяли?

— Он мне будет мстить. Отомстит, — пояснил учитель. — Хорошо, Спиридон, я принял к сведению. — Учитель взял себя в руки. — Мы никому ничего не расскажем.

— Вот так... Будьте здоровы пока. — Спирька вышел.

«А куда это я исчезаю-то?» — подумал он. Даже остановился. Только теперь отчетливо дошло вдруг до сознания, что он, оказывается, решил уехать.

«А куда, куда?» Но, оказалось, что он и это знает: в город Б-ск, что в полусотне километрах отсюда. Когда он все это решил, он не знал, но в нем это уже жило. И только прирожденная осторожность требовала, чтобы решение еще раз проверилось.

Минуя дом, Спирька пошел в гараж. Там еще пережил веселые глаза шоферов. Злился в душе, нервничал. Взял путевку в рейс подальше и скоро уехал.

Дорогой немного успокоился. Стал думать. Хотел опять породить в своем воображении сладостную картину, какая озарила его, когда он разговаривал

утром с учителем: придет он к нему — вежливый, нарядный... Но желанная картина что-то не возникала. Спирька в досаде хотел распалить себя, помочь; ну, ну — придет... «Здравствуйте!» Нет... Не выходит. Противно думать обо всем этом. Его вдруг поразило, и он даже отказался так понимать себя: не было настоящей, всепожирающей злобы на учителя. Все эти видения: учитель висит вниз головой, или: учитель, бледный, жалкий, ползает у него в ногах, — это так хотелось Спирьке, чтоб они, эти картины, стали желанными, сладостными. Тогда бы можно, наверно, и успокоиться, и когда-нибудь так и сделать: повесить учителя головой вниз. Ведь надо же желать чего-нибудь лютому врагу! Надо же хоть мысленно видеть его униженным, раздавленным. Надо! Но... Спирька даже заерзал на сиденье; он понял, что не находит в себе зла к учителю. Если бы он догадался подумать и про всю свою жизнь, он тоже понял бы, вспомнил бы, что вообще никогда никому не желал зла. Но он так не подумал, а отчаянно сопротивлялся, вызывал в душе злобу.

«Ну, фраер!.. тряпка, что ж ты? Тебя метелят, как тварь подзаборную, а ты... Ну! Ведь как били-то! Смеясь и играя... Возили. Топтали. Что же ты? Ведь над тобой же смеяться будут. И первый будет смеяться учитель. Что же ты? Ведь ни одна же баба к себе не допустит такую слякоть». Злости не было.

А как же теперь? На этот вопрос Спирька не знал, как ответить. И потом, в течение дня, он еще пытался понять: «Как теперь?» И не мог.

Вообще, собственная жизнь вдруг опостылела, показалась чудовищно лишеной смысла. И в этом Спирька все больше утверждался. Временами он даже испытывал к себе мерзость. Такого никогда не было с ним. В душе наступил покой, но какой-то мертвый покой, такой покой, когда заблудившийся человек до конца понимает, что он заблудился, и садится на пенек. Не кричит больше, не ищет тропинку, садится и сидит, и все.

Спирька так и сделал: свернул с дороги в лес, въехал на полянку, заглушил мотор, вылез, огляделся и сел на пенек.

«Вот где стреляться-то, — вдруг подумал он спокойно. — А то — на кладбище припорол. Здесь хоть красиво».

Красиво было, правда. Только Спирька специально не разглядывал эту красоту, а как-то сразу всю понял ее... И сидел. Склонился, сорвал травинку, закусил ее в зубах и стал слушать птиц. Маленькие хозяева лесные посвистывали, попискивали, чирикали где-то в кустах. Пара красавцев дятлов, жуково-черных, с белыми фартучками на груди, вылетели из чащи, облюбовали молодую сосенку, побегали по ней вверх-вниз, помелькали красными хохолками, постучали, ничего не нашли, снялись и низким летом опять скрылись в кустах.

«Тоже — парой летают», — подумал Спирька. Еще он подумал, что люди завидуют птицам... Говорят: «Как птаха небесная». Позавидуешь. Еще Спирька подумал, что, наверно, учитель выбросил те цветы, которые Спирька привез учительнице, наверно, они лежат под окном, завяли... Красивые такие цветочки, красные. Спирька усмехнулся. Пижон Спирия... Здесь тоже есть цветочки. Вон они: синенькие, беленькие, желтенькие... Вон саранка цветет, вон медуница... А вон пучка белые шапки подняла вверх. Спирька любил запах пучки. Встал, сорвал тугую горсть мелких белых цветочков, собранных в плотный, большой, как блюдце, круг. Сел опять на пенек, растер в ладонях цветки, погрузил лицо в ладони и стал жадно вдыхать прохладный, сыровато-терпкий, болотный запах небогатого, неяркого местного цветка. Закрыв ладонями лицо и так остался сидеть. Долго сидел неподвижно. Может, думал. Может, плакал...

...Спирьку нашли через три дня в лесу, на веселой полянке. Он лежал уткнувшись лицом в землю, вцепившись руками в траву. Ружье лежало рядом. Никак не могли понять, как же он стрелял? Попал в сердце, а лежал лицом вниз... Из-под себя как-то изловчился. Привезли, схоронили.

Народу было много. Многие плакали...

Евгений Гуцин (1936–2005)

Тень стрекозы

1

После смены леспромхозовский столяр Василий Атясов, мужик сухопарый, длиннорукий и стеснительный, взял в продуктивном бутылку белой. Было это так неожиданно, что женщины, толпившиеся у прилавка, переглянулись и покачали головами, а мужики, которым непьющего столяра частенько ставили в пример, обрадовались и начали гадать вслух: что же такое случилось с Атясовым, что и его наконец-то прорвало?

И Василий, мучаясь от всеобщего внимания, торопливо засунул поллитровку в карман, вышел поскорее из магазина и зашагал прочь.

Возле своего дома он замедлил шаги и, сощурившись, разглядел за стеклами глухие занавески. Значит, Варя еще не пришла из потребсоюза, Сережку она с утра уводит к теще, чтобы не слонялся с мальчишками, а приучался бы помогать в хозяйстве.

Это было на руку Василию: никто не задержит. И он уже хотел было идти дальше, но вдруг будто

укололся: из смежного двора, отодвинув сломанную штакетину, на него глядела соседка Федоровна. Вставила в пролом, будто в раму, бурое, похожее на печеную тыкву лицо и глаза, недоумевала, видно, куда это подался Атясов мимо своего дома. А ниже, в пролом же, выставил острую морду нелюдимый старухин пес, будто и ему интересно.

Федоровну еще называли Золотой Рыбкой. Появилась на селе в войну вместе с другими эвакуированными и беженцами. Ходила старуха из дома в дом и гадала на фасоли про фронтовиков. По доброте ли своей или оттого, что за хорошие предсказания подавали щедрее, но только исход всех гаданий обычно оказывался благоприятным. Вот и прозвали ее так. В благодарность, в насмешку ли — не поймешь.

После войны нездешние люди понемногу рассосались, а Федоровна заняла чью-то брошенную избушку и осталась в ней. Желающих погадать становилось год от года меньше, а потом в сельсовете старуху припугнули выселением, и она поутихла. Был у старухи черный трехлапый пес, который неотвязной тенью ходил за нею, и она запрягала его в тележку или в санки, чтобы съездить за хворостом в лес. Женщины пугались, видя повозку в две силы — человечью и собачью, мужики отчего-то смущались и отворачивались. Однажды и Василий видел, как черный кобель, натужно упираясь тремя лапами, тащил по рыхлому снегу большую вязанку дров. Федоровна подталкивала воз сзади жердиной и не помогала, а только мешала, когда налегала на жердину, чтобы не упасть. Как раз против окон Атясовых, где Варя посыпала тропку золой, чтобы не так скользко было, черный кобель совсем выбился из сил. Он лег и хватал снег горячим ртом, а Федоровна ослабила веревку на шее собаки и гладила мокрую шерсть на судорожно вздымающихся боках, говорила что-то утешающее, ласковое. Не по себе тогда стало Василию. Он выскочил из дома, чтобы помочь, но кобель, не поднимаясь, с таким остервенением на него зарычал, что Василий стусевался и ушел с досадой. Теперь, видя, с каким интересом смотрит на него старуха из-за забора, поморщился.

«Выставились в четыре глаза. Вас только и не хватало», — подумал Атясов в сердцах и, потоптавшись, все же пошел от дома в конец села, и на душе у него было нехорошо, будто уличили его в чем-то худом.

За селом, между огородами и темной, зубчатой стеной леса, напоминающего перевернутую вверх зубьями пилу, лежало поле, поросшее невысокой сорной травой, уже заметно увядшей. Никто здесь ничего не сажал, не сеял, потому что поле числилось за авиаторами. Два раза в неделю садился тут рейсовый вертолет, курсирующий по таежным селам. Пилоты брали на борт нескольких пассажиров, и сами же продавали им билеты.

Приземлялся здесь и небольшой вертолетик лесной противопожарной службы. Летчики-наблюда-

тели заправляли баки горючим, обедали в дешевой леспрохозовской столовой и летели снова кружить над тайгой.

Специальных строений на аэродроме не было. Под навесом, сколоченным из горбылей, хранились бочки с бензином и заправочные приспособления, а в стороне от заправки, на краю поля, стоял дом пожилого мужика Тимофея, который несколько раз в лето скашивал литовкой траву на поле, прогонял забредавших сюда деревенских коров, встречал и провожал вертолеты. К нему-то и шел Василий, покусывая сухую былинку, слушая, как посвистывает о голенища сапог жухлая трава, и удивляясь: вчера еще вроде поле молодозеленело, а вот уж укатилась весна и лето на исходе. Как все-таки незаметно приходит одно за другим, и от этой быстротечности тоска ложится на душу.

Тимофей во дворе насаживал лопату на новый черенок. Увидел Василия — замер с занесенным для удара топором, постоял так, раздумывая, ударить или нет, и не ударил, опустил топор.

— Василий, ты ли, че ли? — спросил он с некоторым удивлением, заметив, чем оттянут карман столяра.

— Я, — сказал Василий с неловкостью. — Зашел вот...

— А я тут лопату подновляю. Картошку скоро копать.

— Ну, так работай. Я подожду.

— То ли ее завтра копать, картошку-то, — улыбнулся Тимофей.

Он был выше Василия, и черты лица у него резкие, какие-то неотесанные, костлявые. Все у него твердое: и нос, и лоб, и впалые обветренные щеки. Прорез рта неожидан, и от самых его краев начиналась колочая, как стерня, рыжеватая щетина. Очень мужское у Тимофея лицо, а улыбка — детская, беззащитная. Даже странно ее видеть на таком каменнотвердом лице.

— Пошли в избу, — пригласил Тимофей и по привычке отряхнул верхонки одна о другую.

Сколько Василий знал Тимофея, всегда на его руках были брезентовые рукавицы-верхонки, и думалось, что они давно уже приросли к живой ткани рук и что под брезентовой кожей руки двупалы, как верхонки. Есть только большой палец и ладонь, которые могут сжиматься и разжиматься наподобие рачьей клешни, поднимать что-нибудь тяжелое и громоздкое, которое не всем под силу. И вообще казалось, что Тимофей самой природой создан для тяжелой, грубой работы, и к ней он всегда готов. Благо, и верхонки на руках.

Вошли в чистую горницу. Василий снял у порога сапоги, чтобы не напотать, и, пройдя к столу, выставил уже надоевшую бутылку.

— А ведь мне нельзя, Василий, — сказал Тимофей в некотором замешательстве. — Пожарников надо встренуть.

— Ну, нельзя, так и не надо, — не очень расстроился гость. — Тогда просто посидим. Поговорить надо.

— Зачем просто? Чаю подогрею.

Тимофей подал чай, принес банку магазинного варенья, хлеба.

— Ну как тут жизнь? — поинтересовался Василий, задумчиво отхлебывая чай и собираясь с мыслями.

— Идет вроде...

— Вертолеты, значит, летают?

— Летают, куда им деваться.

Василий вздохнул, повертел в пальцах стакан и отодвинул.

— Ты, Тимофей, только не смейся. Может, оно смешно, а ты не смейся. Тут дело вот какое... Вертолет мне охота сделать...

Тимофей отпил глоток, тоже отодвинул стакан, стал смотреть на гостя. Шутит, не шутит? Спросил:

— Это как?

— Так... Сделать вертолет. Маленький, конечно, на одного. Полететь над полем, над лесом. — Василий поднял ладонь и повел ее над головой, показывая, как бы он полетел.

Тимофей посмотрел на ладонь Василия, изрек уверенно:

— Не полетит.

— Почему? — Василий опустил руку на стол. — Думаешь, не смогу? У меня хоть грамотешки не шибко много, а глаз цепкий. Вот, скажем, надо раму сделать. Я на нее поглядел... — Василий повернулся к окну и стал изучать раму. — Я на нее поглядел, и уже все размеры у меня вот где, — стукнул указательным пальцем по лбу. — Хочешь, я тебе размеры сейчас на бумажке напишу, а потом смеряем рулеткой и проверим?

— Так это рама, — усмехнулся Тимофей безгубым ртом.

— Возьмем вертолет, — загорячился Василий. — Мне бы только вокруг него походить, заглянуть в кабину, и хорош. Сделаю. Я уж кое-какие журнальчики нашел, там про вертолеты все сказано. Мне наживой теперь надо поглядеть.

— Все равно не полетит, — упрямо качал головой Тимофей. — Не фабричный будет, потому и не полетит. Это, парень, вертолет... Не что-нибудь. Это тебе не раму изладить. Не управиться тебе.

— Управлюсь, — сказал Василий твердо и повторил: — Управлюсь.

— А потом я слышал, будто нельзя самодельные, — продолжал Тимофей, еле заметно улыбаясь. — Ты вот улетишь на ем в Америку, поминай тебя как звали.

— Я? В Америку? — изумился Василий. — Чего я там забыл?

— Кто тебя знает. Сведения передашь.

— Какие сведения?

— Какие бывают сведения...

— Ты зря так про меня, Тимофей, — загорюнился Василий. — У меня тут жена, пацан... В Америку... Сто лет она мне не нужна, твоя Америка.

Тимофей уже открыто улыбался шербатым ртом.

— Да это я так... Шучу... — И, видя, что гость обиделся, спросил сочувственно: — И давно это у тебя?

— Да нет. Недавно, — сухо зато отозвался Василий.

— Может, с детства метил в летчики?

— Да нет. Не метил. В армии посмотрелся разных самолетов-вертолетов — и ничего. А тут вдруг накапало — спасу нет.

— Ты вот что, — наставительно сказал Тимофей, — купи билет да слетай в райцентр и назад. Чтобы зуд-то прошел.

— Я пассажиром не хочу.

— Вот беда, — опечалился Тимофей и, помолчав, спросил: — Ты в столяры-то как пошел? Поди, отец заставил?

— Не заставлял он. Когда хворал сильно, подозвал меня. Тебе, говорит, дедов инструмент оставляю. Деда кормил, меня кормил и тебя прокормит. Вот и начал я столярничать. Не пропадать же инструменту, да и матери помогать надо было.

— Отец худому не научит, — подхватил Тимофей. — Столяром без куска хлеба сроду не останешься. У тебя сколь в мастерской выходит?

— По-разному...

— Ну а в среднем?

— Где-то за двести.

— Во! — поднял Тимофей негнувшийся палец. — Да еще калымишь. Разные там рамы, табуретки. Калым-то с сотнешку дает?

— Дает.

— Вот он, дедов-то инструмент. Пацану его передашь, глядишь, и эта, как ее... династия будет. За это нынче хвалят.

— Пацану, говоришь, передать? — поднял глаза Василий.

— Ну. Сыну своему.

— А если он не захочет? Вдруг у него другой талант откроется? — Василий помотал головой. — Отец отцом, только каждый своим умом должен жить. Пацан к машинам потянется, а я его в столяры... Династия... — Василий криво усмехнулся.

— Оно, видишь, тут как... Ты вот родился, а отцово ремесло уже в тебе сидит. Вроде как... наследственность. Я читал в газетке.

— А у летчиков от кого наследственность? — не поддался Василий. — Самолеты давно ли появились? Или Гагарина возьми. Кто у него в космосе летал, отец или, может, дед? Смеешься, Тимофей? Ну и смейся, ведь смешно. Наследственность... Нет, что ни говори, а я несогласный. Потянется Серега к другому делу, перечить не стану. Инструмент в печку брошу, гори он огнем, а жизнь пацану не испорчу.

— Зачем же в печку? — осудил Тимофей. — Старый инструмент кому хочешь сгодится. Лучше продать.

Василий улыбнулся.

— Да я пока не собираюсь его бросать. Серега еще только в третий пойдет. Какие у него еще склонности. Кормить, одевать надо.

— Выбросить в печку! — все еще сокрушался Тимофей. — Попробуй выбрось. Жена тебе так выбросит, бедный станешь.

— Это точно, — согласился Василий. — У нас и дом от дедова инструмента, и обстановка от него, и сыты и одеты, слава богу, не хуже других. Все у нас на нем держится. Варя это знает. Я как-то оставил рубанок в сырой стружке, так она меня отчитала. Потому что лишняя тряпка — от рубанка. А одеваться она любит. Страсть прямо. Мне вот все равно, в чем я. Есть чистая рубаха, чистые штаны, сапоги без дыр — и ладно. А ей — нет. Увидит на складе кофту, особенно не нашу, сама не своя, пока не купит.

— Баба... У них свое, — отозвался Тимофей. — Только хуже нет, когда жена в торговле работает. С одной-то стороны, вроде бы и ничего. Для дома достанет и то и другое. Уж торгаши себя-то всегда обеспечат. Это дело известное. А с другой стороны... Товаров видит много, глаза и разбегаются... Не видала бы — так лучше, а тут умри, а купи. Не купить — сразу мужик плохой, мало зарабатывает. Да разве на все ее прихоти заработаешь? Я через это и разошелся. И лучше. Никто не дергает. Ты, парень, укорачивай свою-то. Эт-то в селе встренулась, так и не поздоровалась. Где ей, такой разодетой, с каким-то мужиком здороваться? От тряпок вся ихняя гордость. Укорачивай ее. Миллионер, мол, я ли, че ли? Мало ли чего на складе лежит. Всего не купишь. Другим оставь.

— А-а, пускай, — махнул рукой Василий и насутился. — Пусть одевается, раз у нее интерес такой. Мне вот другое надо, Тимофей. Накатилось — веришь, спасу нет. Уж и снится стало, будто лечу над этим полем, над лесом. И так мне хорошо, так сладко, душа разрывается. Сроду со мной такого не было.

— Че с тобой делать-то... — раздумчиво проговорил Тимофей и долго смотрел на Василия молча, потом сказал: — Ну, дак смастери себе вертолет, раз уж так приперло. Вот пожарники прилетят, подпущу тебя к машине. Гляди, шут с тобой.

— Вот за это спасибо, — повеселел Василий. — Я знал, Тимофей, что ты хороший человек, потому и пришел.

— Будет тебе, — поморщился Тимофей. — Хороший... А насчет механики проси Мишку, племяша.

— Это который в гараже слесарем? — Мишку Василий немного знал. Маленький мужичонко, шустрый такой, глаза пронырливые.

— А что, Мишка слесарь хоть куда, — заговорил Тимофей, уловив в лице столяра раздумье. — Он хоть и закладывает, а в моторах шибко понимает.

— Можно и Мишку, — согласился Василий, понимая, что другого помощника ему, пожалуй, не найти. — Ты поговори с ним, Тимофей. Я ему заплачу.

Но Тимофей уже прислушивался к чему-то другому. Василий глянул в окно, куда уставился хозяин, и увидел, как поле перечеркнула бесшумная тень вертолета, и только после этого услышал рокот мотора, неожиданный и сильный.

— Вот они, пожарнички, — проговорил Тимофей, поднимаясь. — Ты посиди покаместь тут, а как летчики уйдут, так и приходи. А то они не любят, когда трутся посторонние.

В окно Василий видел, как двое летчиков, невысокие, похожие друг на друга, может, потому, что одеты были в одинаковые белые рубашки с закатанными рукавами, и на головах у обоих одинаковые форменные фуражки, поздоровались с Тимофеем за руку, весело что-то сказали ему и двинулись в село.

Когда Василий вышел, Тимофей, как часовой, прохаживался возле вертолета.

— Гляди сколь влезет, — разрешил он.

Вертолетик был маленький. Василий измерил его длину от носа до хвостового винта рулеткой и, сощурившись, пристально разглядывал лопасти основного винта и крошечные, словно игрушечные, колесики — пытался запомнить машину во всех подробностях. Потом он сквозь стекло заглянул в кабину, рассматривая ручки управления и многочисленные приборы.

— Тут без поллитры не разберешься, — хохотнул Тимофей.

— Можно дверцу открыть? Поглядеть поближе, что и как, — попросил Василий робко.

Но Тимофей сразу же затвердел лицом:

— Глядеть — гляди, а руки, паря, придержи. Нигде ими не касайся.

— Да я же не съем.

— Сказано — нельзя, — стоял на своем Тимофей. — А то рассерчаю и вовсе глядеть не разрешу.

Василий бродил возле вертолета, запоминая размеры, опускался на колени, изучая машину снизу, осматривая еще и еще спереди, с боков, до тех пор, пока не услышал молодой, насмешливый голос:

— Эт-то что тут за комиссия?

Тимофей растерялся от неожиданного появления летчиков, оправдываясь, заторопился:

— Это не комиссия. Это наш столляр Атясов. Он вертолет хочет изладить. Только смотрит. А руками нигде не касался.

— Значит, не касался? — сурово спросил один из летчиков и, повернувшись к Василию, потребовал:

— А ну, покажи руки!

Василий с готовностью протянул ладони. Летчики расхохотались, похлопали столяра по плечу.

— Значит, вертолет хочешь? Ну дает! А «Москвич» не хочешь? Или «Жигули»?

— Не хочу.

Переглянулись не то с насмешкой, не то с одобрением.

— Толк знает мужик.

Потом один из летчиков открыл дверцу, сел в кресло и стал показывать, как он пилотирует. Тянул ручку на себя, щелкал другой, нажимал на педали.

— Ну, понял?

— Понял, — качнул головой Василий, стыдась злоупотреблять терпением занятых людей.

— Тогда от винта!

Летчики уюстились на сиденьях, захлопнули дверцу. Сквозь стекло было видно, как они весело переговаривались, посматривая на Василия. И вдруг по-мотоциклетному затрещал мотор, лопасти винта сначала медленно, будто неуверенно крутанулись и слились в сплошной сверкающий круг, подминая траву тугим ветром. Вертолет качнулся, его игрушечные колесики оторвались от земли. Машина невысоко зависла в воздухе, медленно поворачиваясь носом к лесу, и вдруг пошла вперед, поднимаясь все выше и выше. Поблескивая на солнце зелеными боками, она легко взмыла над синим лесом и, стрекоча, поплыла в поднебесье.

— Как стрекозка, — задумчиво сказал Василий, не в силах оторвать глаз от неба, в котором уже ничего не было видно, только далеким эхом дрожал воздух.

— Пошли, — тянул его за рукав Тимофей, потому что к ним из избы уже шел Мишка.

— Вы че это бутылку беспризорной оставляете? — спрашивал Мишка улыбочиво, поминутно сплевывая себе под ноги.

— Кто ее дома-то обидит? — хмыкнул Тимофей.

— Как это? А я не человек? — радостно ухмылялся Мишка, маленький росточком, даже удивительно было, что он — родственник рослому Тимофею.

Узнав про желание столяра, Мишка загорелся:

— Вертолет — это то, что надо! Когда в нашем ларьке выпить нету, взял и слетал в райцентр. Там-то завсегда. Так что мотор я тебе сделаю. Это мертво!

— У меня еще и мотора нет, — признался Василий.

— Как нет? — Мишка сплюнул, растер плевков носком стоптанного ботинка, задумался и снова встрепенулся: — Стоп, Вася, с тебя пузырек. Будет мотор. — И, оглянувшись, будто их мог кто услышать, зашептал: — В заготпушнине старые аэросани есть. На сосну налетели ночью по пьянке. Сани-то угробили, понятно, а мотор — целый. Он сзади, что ему делается!

— А отдадут они его? — усомнился Василий.

— Отдадут-ут! — лихорадило Мишку. — Главное со Степановым, с ихним начальником, договориться. Мы к нему вместе пойдём, потому что тебя одного он сделает как хочет. А со мной — не-ет... Я его как облупленного знаю. Он у меня знаешь где? — Мишка сжал кулак, показывая, где у него Степанов. — Мы

его сразу за жабры. Так, мол, и так: отдай мотор по дешевке и не грши. А мотор — само то. Одно добро.

— Во, че делает! — восхитился Тимофей, глядя на своего племянника. — На живом месте дыру вертит. Не пил бы, большим человеком был бы. Может, даже завгаром.

2

В просторном деревянном доме, куда привел Мишка Василия, сидела за канцелярским столом девица, перекидывала костяшки на счетах. Стены были увешаны плакатами с заглавными словами: «Охотник, знай» и «Охотник, помни». Вдоль стен стояли тяжелые скамейки, известка над ними дочерна вытерта спинами посетителей.

Мишка дурашливо облапил девицу сзади:

— Здоровы были!

Девица презрительно повела на него длинными ресницами, на которых дрожали кусочки туши, равнодушно освободилась от его рук и снова принялась за свое дело.

— Начальство у себя?

Она не ответила, да Мишка как будто и не ждал ответа.

Подмигнув Василию, потащил к другой комнате, дверь в которую была обита черным дерматином, как у всякого уважающего себя начальства.

Степанова, оказалось, Василий немного знал, иногда с ним встречался на улице, но знаком не был и потому не здоровался. Сейчас ему было неудобно. Степанов — мужик в годах, лысый начисто, а брови каким-то чудом сохранил густые, до того пышные и густые, что они казались чужими на его лице. Он подал руку Василию, кивнул на стул. На Мишку он даже не взглянул и сесть не предложил. Тот сам уселся.

— Такое дело, — начал Василий без обвиняков, потому что крутить вокруг да около не любил и не умел. — У вас, говорят, ненужный мотор есть. Я бы его купил.

— Кто говорит? — спросил Степанов, косясь на Мишку.

— Да есть такие...

Глаза у Степанова цепкие, со смоляным блеском, какие-то очень уж зоркие, такие, кажется, человека насквозь видят. На Мишку он посмотрел остро из-под своих бровей, и тот беспокойно заерзал на стуле.

— Ненужного не держим, — проговорил Степанов. — У нас все только нужное. Не знаю, кто вас так неверно сориентировал.

— А сани-то! — не вытерпел Мишка. — Которые в складе. Ведь на них сто лет никто не ездит!

— Сейчас не ездим, а отремонтируем и будем.

— Да че там ремонтировать? Дешевле новые...

— А ты не суйся в чужие дела, — обрезал его Степанов. — Мы уж сами разберемся, что с ними делать.

Василий, проклиная в душе Мишку, поднялся виновато.

— Ну, нет так нет. Извините, если что...

— Ничего, ничего... — вежливо подхватил Степанов и тоже поднялся со своего стула, прислонился к подоконнику. Смотрел на Василия без злости и недовольства. С интересом смотрел. — А зачем вам, если не секрет, этот мотор? Вы ведь, кажется, столяр, не охотник. Это охотникам сани для промысла нужны. А вам?

Василий замешкался с ответом, и тут встрял Мишка:

— Ему на глассер надо. По речке плавать!

Василий густо покраснел. Речка по селу протекала каменистая, мелкая. Какое по ней плаванье! Со стыда готов был под пол провалиться. Степанов неопределенно покачал лысиной, но в подробности плавания по речке на глассере вдаваться не стал. Какой-то устойчивый интерес был в его лице.

— Сани у нас действительно есть, — заговорил он спокойно. — Сломанные. Все исправить никак не соберемся. Времени нет. То одно, то другое. Сейчас отлов соболей на носу. План большой, а у нас клеток мало. Вот если бы вы... — Степанов голосом подчеркнул эти слова. — Вот если бы вы подрядились нам сделать с полсотни клеток, выручили бы нас, тогда как-нибудь решили бы и с мотором. Продали бы вам его, хотя на него промысловики давно зуб точат.

— Да сделает он вам клетки! — закричал Мишка. — Это ему как семечки. Сколь надо, столь и сделает!

У Василия заломило в висках. От других столяров он знал, что за клетку платят по рублю, а это разве цена для серьезного человека? С клетками работа кропотливая, муторная, себе в убыток. То-то за них никто и не берется. Но это другие не берутся, им мотор не нужен. А куда ему деваться? Такого мотора больше ни у кого нет.

Василий согласился чуть не плача.

Степанов позвал девуцу из приемной, и она написала тут же две бумажки. В одной Василий расписался в получении пятидесяти рублей аванса за клетки, в другой за то, что внес эти деньги в кассу заготовщины в счет мотора.

Василий вышел на улицу в большой растерянности, не зная, радоваться или огорчаться.

— Да че ты кислый такой! — горячо шептал Мишка. — Все нормально. Отдадут тебе мотор по дешевке. Видал, как мы Степанова прижали? Уж я-то его знаю как облупленного. — Помолчал, сплюнул под ноги, поинтересовался: — Тебе колеса какие нужны? От мотороллера?

— Вроде бы.

— Хочешь, сейчас достану? Пока настроение? Только трояк надо. Без этого сам понимаешь...

Василий дал три рубля и пошел прочь.

От природы Атясов был человек застенчивый, не любил надоедать людям, а тем более приставать с

просьбами, но тут, хочешь не хочешь, пришлось ходить к знакомым и незнакомым людям, кланчить то одно, то другое. Противно, а иначе нельзя. Надо фанеры толстой и тонкой, надо клею хорошего, да мало ли еще чего надо. Легче сказать, чего не надо.

А через неделю снял с книжки триста рублей и днем, пока жена была на работе, привез домой мотор вместе со старым пропеллером на валу, спрятал в сарае под брезентом. Туда же затолкал потрепанные колеса от мотороллера, которые добыл ему Мишка.

Озабоченно присел возле приобретенного. Степанов деньги за мотор сорвал порядочные — триста рублей. Правда, Василий заплатил двести пятьдесят, остальные внес раньше, когда получил за клетки, но это не утешало. Колеса тоже недешево обошлись. В общем, от трехсот рублей ничего не осталось. Последние рубли на бутылки разменял: тому надо поставить, другому, третьему. Нигде насухую не шло.

Но не столько денег было жаль Василию, как совместно перед Варей. Что-то она скажет, когда узнает, что снял он деньги с книжки без спроса, тайком. Ведь сроду с ним такого не случалось. Зарплату всегда отдавал до копейки, приработок тоже отдавал, не припрятывал, как другие, пятерку-десятку. Зачем припрятывать? Он не пьет, не курит, а на столовую жена сама даст. Вздохнул Василий, мысленно повинился перед женой.

Познакомился он с ней в потребсоюзе, куда его начальство послало подремонтировать окна и двери. Василий только вернулся из армии, носил солдатское, был весел и свеж лицом. И работал он споро и весело, изголодавшись по делу. В потребсоюзе сидели все больше молодые девки. Они, не скрываясь, тарасились на Василия, заговаривали с ним. Здесь же, среди других, была и Варя. На столяра она игриво не поглядывала, но, даже опустив глаза на бумаги, чутьем видела каждое движение парня. Уж она-то раньше других угадала в нем много жизни.

Василий подогнал двери к косякам, отладил створки окон, а когда главный бухгалтер Ширяев попросил врезать новый замок в его стол, он и это сделал.

Когда Василий собрался уходить, Ширяев сказал:

— Проси, солдат, что хочешь. Надо — шапку тебе ондатровую организуем. Как номенклатурный товарищ в ней будешь.

— Солдатскую еще не износил, — отказался Василий.

— Может, костюм желаешь? На складе есть импортные.

— И с костюмом погожу.

— Ну, тогда выбирай невесту. Любую отдадим бесплатно. — И сделал широкий жест в сторону зарумянившихся и притихших девок.

И Василий посмотрел на Варю.

Варя кожей почувствовала на себе его взгляд, такой осязаемый, будто бывший солдат поглаживал ее

рукой. Она отчаянно покраснела и подняла на него серьезные раскосые глаза. Они у нее были такие обещающие, что Василий задохнулся от предчувствия.

Вечером он дождался ее на улице, смело и просто подошел к ней, и она этому не удивилась.

Гулял Василий с Варей недолго. Когда упал снег и установилась санная дорога, сказал ей: «Зачем нам время переводить на гулянья? Пока снег неглубокий, самая пора бревна подвести. Давай-ка поженимся и начнем дом строить».

Деньги к тому времени у парня завелись, да и Варя оказалась девка не промах — загодя копила, так что строиться было на что. Домишко, оставшийся Василию от отца-матери, отживал свое, и родители Вари предложили молодым пожить пока у них, однако Варя наотрез отказалась. Нам, мол, пора свои углы отстраивать, свою домашность заводить. Как ни худа развалюха, да своя, мы в ней хозяйева. Тут и свадьбу сыграли. Теснота была в избушке: не только в пляске разгуляться — сесть негде. Но молодожены не горевали, только посмеивались: «Не тужите, гости, приходите к нам летом — в хоромах примем».

Сказанные в веселый час слова оказались не пустыми. Сразу после свадьбы взял Василий в леспромхозе трактор с саями, привез бревен и досок, принялся размечать сруб. И не как-нибудь, сразу на пятистенок замахнулся. Всю зиму готовил сруб, а по весне, когда земля подсохла, пришли товарищи по работе и помогли возвести стены и поднять крышу. Старая избенка оказалась внутри нового дома, который словно заглотив ее.

Однако сруб своим видом Варе не поглянулся, и она заставила мужа облицевать стены на городской манер — узкой плашкой в елочку. Желание ее Василий исполнил: облицевал бревна плашкой, а саму плашку протравил марганцовкой и покрыл в несколько слоев бесцветным лаком, так что дом засверкал как полированный. Под крышей он навесил кружевные карнизы, а на наличниках окон вырезал пузатых целующихся голубей. Высок и красив вышел дом! Казалось, на цыпочки привстал, чтобы отовсюду его было видно.

Как и обещали молодые, к середине лета справили новоселье. Пришли гости и ахнули: не голые стены предстали их глазам. На леспромхозовскую ссуду Атясовы справили мебельный гарнитур, купили холодильник, стиральную машину и телевизор с большим экраном. Вот как: все одним махом!

Нет, не ошибся Василий, разглядев в Вариных глазах обещание близких радостей. Женой она оказалась куда с добром. И пылинки в комнатах соберет, и мужа обстирает, накормит, а вечером прижмется к его груди, и у того дыханье теснится, и голова тяжелеет от необъяснимой сладости. До чего же богатой оказалась его Варя, сколько черпает от нее радостей, а вычерпать не может, всегда она ими полна. И ни

споров, ни ругани. О чем спорить, если Варя вся в заботах о доме, старается достать для дома хорошую вещь, которую в магазине так просто не купишь, а Василий прирабатывает по вечерам. Со ссудой рассчитались, уже лишние деньги завелись, стали их на книжку откладывать.

Все хорошо было, что и говорить, а вот теперь он, Василий, снял тайком деньги, израсходовал их на мотор, на старые колеса, которым на свалке и место.

3

Раньше, идя с работы, любил Василий лишний раз глянуть на свой дом, на его высокую крышу и крепкие, под лаковой плашкой стены. Посмотрит на него Василий и почувствует себя прочным, защищенным этими стенами. Кажется, никакая беда не достучится.

А теперь, подходя к калитке, Василий вздохнул и опустил глаза на дорожную пыль. Не глядел на дом, будто стыдился его. Он и калитку отворил неуверенно, не по-хозяйски, как чужую, и на крыльцо поднялся тихонько, стараясь не греметь сапогами. Пошарил за косяком, где заведено было оставлять ключ, но пальцы нащупали между бревен лишь лохмотья сухого мха. Неужели Варя так рано пришла?

Василий, как был в спечовке, в сапогах, прошел в большую комнату и замер. Его жена в цветастых штанах и такой же кофте стояла перед зеркалом шифоньера и солнечно улыбалась.

— Ну как? — спросила она, расправляя складки, кофты под пояском. — Нравится? На полчаса выпросила померить.

— Красиво, — осторожно сказал Василий и увидел на столе сберкнижку, которую Варя, судя по ее лицу и голосу, не раскрывала.

— Твою жену да модно одеть, знаешь бы какая была? — говорила она игриво, то одним, то другим боком поворачиваясь к зеркалу.

— Будто тебе нечего надеть. Полный шкаф платьев да кофт.

— Что ж, теперь до старости носить их прикажешь? Ты бы видел, что у нас сегодня делалось, когда товары привезли. Ужас, что творилось! То все плачут — денег нет, а тут у всех деньги появились. Сбежались на склад. Даже уборщицы и те лезут, тоже хватают... Ты, Вася, поднажми. К ноябрьским обещали ковры подбросить. Нам бы в большую комнату и в спальню. Зайди к Ширяеву, он книжные полки заказать хочет. Сделай ему, мужик он нужный.

— Сделаю, — пообещал Василий, с тревогой наблюдая, как жена нетерпеливо поглядывает на часы.

— Ну, покупать? — спросила Варя.

— Покупай. Только куда ты в нем пойдешь?

— Куда угодно. В кино, например.

— Засмеют, — через силу сказал Василий.

— Ва-ся... Ты, оказывается, ужасно отсталый у меня. Да в городе женщины давно брючные костюмы носят.

— То в городе, — упрямылся Василий, понимая, что сейчас откроется его вина. — А здесь выйди — засмеют.

— Скажи уж, денег жалко, — потускнела жена.

— Ничего мне не жалко. — Василий наморщил лоб, соображая, с чего бы начать неприятный разговор. Все равно по ее будет, так пусть здесь, дома, узнает про деньги, а не в сберкассе на людях. — Варь, я снял три сотни, — с натугой сказал он.

— Как снял? — живо обернулась она.

— Как снимают. Снял и снял. — Первая тяжесть прошла, и Василий даже поразился своему спокойному ответу.

— А где они, эти деньги? — спросила Варя насто-роженно.

— Отдал, — выдохнул Василий. — Я это... мотор купил. — И покраснел, потому что смешон был его ответ, по-детски смешон и нелеп.

— Какой мотор? Для чего?

— Варя, давай в другой раз. Ты же в сберкассе не успеешь.

— Да уж до костюма ли мне теперь. Так для чего тебе мотор?

— Для вертолета.

Варя ошарашенно посмотрела на красное, будто спекшееся лицо мужа, потом, все еще не веря, взяла со стола сберкнижку, долго вчитывалась в нее, словно там могло быть написано, на что муж истратил деньги.

— Варь, да ты не переживай, — заговорил Василий. — Ведь не все истратил. Остались же. Да и еще заработаю. Ты меня знаешь.

— Знаю? — отозвалась Варя, с пристальным интересом рассматривая мужнино лицо, будто видела впервые. — Знаю... — невесело усмехнулась. — Это я раньше думала, что знаю. А теперь... Да-а... Наконец-то и я дождалась от своего муженька. На работе бабы рассказывают: у одной мужик пьет, деньги сроду не отдает. У другой треплется или еще что, а я: нет, у меня Вася не такой. Мой Вася себе разве такое позволит? Вот тебе и «мой Вася». Ухлопал деньги неизвестно на что, а жене ни звука, будто в доме она посторонний человек. Это надо же... Вертолет он захотел!

Василий сначала изумленно молчал. Ему даже казалось, что эти слова говорит не Варя, а даже по виду незнакомый человек. И голос не слыханный прежде, чужой, и слова чужие. Не стал больше ничего говорить, повернулся молча, ушел к себе в сарай. Опустился там на чурку, задумался.

Конечно, он и раньше знал, что не обрадуется жена, когда узнает про деньги, но таких обидных слов не ожидал и растерялся. Кто спорит, что не виноват? Виноват. Но можно ли из-за денег так на че-

ловека? Думал, поругается Варя и тем кончится, а вышло вон как. Видно, и он Варю не очень-то знал.

Долго размышлял Василий, вздыхая и горестно покачивая головой, словно жаловался невидимому собеседнику. Уже стемнело, но света он не зажигал. Зачем ему свет? Работать — все равно никакого настроения, хотя заказы ждут своей очереди. Да теперь эти клеточки, пропади они пропадом вместе с шелопутом Мишкой.

Уже, наверное, двенадцатый час ночи шел, когда послышались шаги и скрипнула дверь. Василий даже головы на скрип не повернул, хотя и догадался: жена пришла. Варя постояла у порога, озлилась, что муж не обращает на нее внимания, щелкнула выключателем. Яркий свет большой лампы под потолком больно резанул глаза.

— Ты что — тут ночевать собрался? — спросила Варя насмешливо.

Он промолчал.

— Чего есть не идешь? Или сытый? Своим мотором?

Василий снова не ответил, и тогда Варя решительно вошла в сарай, отдернула брезент, с горькой усмешкой рассматривала мужнины приобретения.

— Ну, так что будем делать?

Василий пожал плечами.

— Ничего себе... Сам же виноват, да на меня же смотреть не хочет. Он, видите ли, обиделся...

Василий поднял глаза и увидел, что жена перед ним стоит в обычном своем платье, в котором она ему родна и привычна, и ему подумалось, что, не надев Варя на себя тот костюм, даже по виду чужой, странный, никакой ссоры бы не получилось, что в тех пестрых штанах Варя была не сама собой и говорила ему не свои слова, а те, что пришли к ней вместе с костюмом, и ему стало легче от знакомого ее вида, и обида понемногу улеглась.

— Варя, — хрипловато от долгого молчания проговорил Василий, — ты скажи: привередливый я мужик или нет?

— В каком смысле? — осторожно поинтересовалась Варя. Не такая она была простушка, чтобы сразу ляпнуть «да» или «нет».

— Вообще. К еде я, скажем, придираюсь? Например, что-нибудь сготовишь, а я нос ворочу. Копаюсь, в общем. А? Скажи?

— К чему ты это говоришь?

— Интересно мне, какой я. Трудно тебе со мной или нет. Придираюсь я к тебе когда? — Варя промолчала, насторожилась, и тогда он ответил сам: — Нет, вроде бы я не зануда. Сроду ты от меня худого слова не слышала. Хорошо мне, плохо — не жалуюсь. Привычки не имею. Или взять тряпки. Рубашек, разного барахла прошу когда?

— У тебя что, носить нечего?

— Не в этом дело. Просто я для себя никогда ничего не просил.

— А-а, — поняла по-своему жена. — Костюм я хотела купить. Запереживал уже... Как же: лишняя тряпка у меня будет...

— Опять ты не поняла, — подсадовал Василий. — Покупай себе все, что хочешь. Я о другом речь веду. Вот я сейчас прошу тебя первый раз в жизни для себя. Не мешай ты мне сделать то, что хочу. Дай ты мне душу отвести. Иначе я не человек буду.

— Вертолетик тебе не мешать строить?

— Да, — качнул головой Василий.

— Нет уж, милый, — жестко сказала Варя, — не смехи-ка людей. Ты пока что в семье живешь, так что будь добр, считайся с семьей. Будешь жить один — делай что хочешь, никто тебе ничего не скажет. А эти железки, — показала рукой на брезент, — завтра же увези туда, где взял. Не увезешь — сама выкидываю. Так и знай.

После этого она ушла, хлопнув дверью.

Василий посидел еще немного и тоже поднялся.

В кухне горел свет, и на столе был налажен ужин, но есть Василию не хотелось. Разделся, умылся, полез в постель.

Варя не спала. Нашарил в темноте ее теплое плечо, и это тепло его обнадежило. В сарае разговора с женой не получилось, так, может, здесь, когда они так близко друг от друга, она поймет его, терпеливо выслушает и не поторопится сказать холодное слово.

— Варь... — позвал Василий. — Давай поговорим.

— Разговаривать будем, когда железки увезешь. Тогда и лезь.

— Ну почему ты такая? Я же по-хорошему... — Он хотел обнять Варю, приласкаться, как раньше, когда у них все было ладно, но Варя не приняла его, в сердцах отдернула плечо, повернулась к стене.

4

Удивительные перемены могут произойти с человеком за совсем короткий срок. Еще какой-то месяц назад Василий жил неспешно и тихо. В семь часов он вставал без будильника, от привычного внутреннего толчка, находил в кухне еду, завтракал и шел в мастерскую леспромхоза. Начиналась смена, и он пилил, строгал, тесал, делал то, что должен был делать. Ни суеты, ни торопливости в себе не знал. Зачем и куда торопиться, если руки движутся как бы сами собой и к концу смены сделают положенное.

Придя с работы, ужинал, около часа дремал на диване и шел в свой хорошо оборудованный сарай, где работал еще часа четыре, выполняя заказы сельчан. Жизнь шла ровно и уверенно, не докучая особыми заботами. А теперь все сбилось с привычного хода, будто пружина соскочила с держателя и стрелки часов рванули быстрее, чем надо. На работе Василий думал, как бы поскорее попасть в свой сарай, и заранее прикидывал, что успеет сегодня сделать.

И уже не разлеживался на диване, а, наскоро перекусив чем придется, бежал в сарай. Отпирал большой висячий замок, повешенный после угроз жены все повыкидывать, и лихорадочно принимался за дело. Выкраивал по самодельным чертежам шпангоуты фюзеляжа, заготавливал бруски для лопастей винтов и другие детали, чтобы потом из фанерных, металлических, пластмассовых частей собрать то, из-за чего переиначилась его прежняя, без тревог, жизнь.

Попозже приходил Мишка, предварительно проследивший, нет ли поблизости Вари, которая могла его турнуть со двора. Мишка крадучись шмыгал в сарай, запирался на крюк и открывал потрепанную багетку с инструментами. Звеня ключами, запускал руки во внутренности мотора, что-то перебирал, чистил, смазывал, однако надолго его не хватало. Скоро Мишка, сплевывая на пол, что раздражало чисто-плотного Василия, отступал от мотора, скоромно ухмылялся:

— Плесни че-нибудь, а то здоровья нету.

— У тебя каждый день здоровья нету, — с тихой злостью говорил Василий. Он привык к ежедневному Мишкиному вымогательству и заранее припасал бутылку. Наливал слесарю полстакана, и тот, успокоившись на время, снова копался в моторе. Потом присаживался перекурить и собирался домой.

Василий его не удерживал. Сам он оставался в сарае далеко за полночь, удивляясь себе: раньше в десять вечера уже ныли спина и руки, а теперь будто за порогом оставлял усталость. И работал, работал, боялся словно, что не дадут закончить задуманное.

Жена в сарай больше не заходила и ужинать не звала. Иногда она оставалась ночевать у матери и Сережку домой не приводила, как догадывался Василий — специально. Мужа позлить. А когда была дома, то с Василием объяснялась знаками, как с глухонемым. Однажды Василий не выдержал, спросил:

— Сережку-то насовсем отдала, что ли?

И тут жену прорвало. Она будто давно ждала этих слов, и ответ у нее был под рукой:

— А ты неужели соскучился? Совсем не похоже, что соскучился. Люди уж смеются над тобой. Совсем из ума выжил!

Василий замолчал, жалел, что затеял разговор, но Варю молчать не хотелось. Намолчалась, много у нее накопилось.

— Вертолетик! Смех один! Ты бы лучше уж мотоцикл собрал, раз больше делать нечего. Все бы польза была. Вон Ширяевы каждую осень ездят в тайгу на мотоцикле. Кадушку груздей засолили да бочку брусники замочили. А сколько сухих грибов в потребсоюз сдали! Знаешь, как заработали. А он — вертолетик. Только о себе и думает. Эгоист! Да еще сына вспомнил. Как же, нужен ему сын!

А тут некстати пришла девка от Степанова из заготовпушнины узнавать про клетки и начала разговор

почему-то не с Василием, а с Варей... Степанов грозился пожаловаться в леспромхоз, если через неделю клетки не будут готовы.

Василий, чтобы отвязаться, пообещал и, едва девка укатилась, вышел сам, сел на ступеньки крыльца, переживал.

Работа тем не менее у него двигалась споро. Где-то надо было уже собирать вертолет. Делать это дома, во дворе, он не решался. Опасался, Варя и на самом деле что-нибудь сломает или выбросит, да и трудно будет катить машину к полю через всю деревню. Народ сбежится от стара до мала, лишних слов наслушаешься. Зрители соберутся. Нет уж.

На другой день пошел к Тимофею проситься под навес. Тот долго кряхтел, но потом махнул рукой и даже коня дал — детали перевезти. Василий в ту же ночь все перевез к Тимофею.

Варя глядела с крыльца, как грузился муж.

— Может, тебе и чемодан сразу собрать? Чтобы больше не видеть? Чтобы хоть надо мной-то не смеялись бы!

Василий уехал молча и ночевать остался у Тимофея. Варя тоже ушла к матери. Что ей одной в пустом доме делать? Сиротливый, затаившийся стоял дом, опустевший на ночь впервые за все годы. Жутковато было глядеть на его светящиеся под луной стены и темные провалы окон.

Вечером, идя с работы, Варя гадала: дома мужик или нет? Пошарила в стене — ключ оказался на месте, и у нее кольнуло под сердцем. Не стала отпирать замок, пошла к матери за Сережкой. Всё не одной сидеть. И когда уже с сыном подходила к крыльцу, ее через забор окликнула Федоровна.

Федоровну Варя не любила и даже побаивалась тайне. Еще когда дом строили, она все беспокоилась: слишком уж часто и непонятно глазела старуха через забор к соседям. Заберется с вилами на сарай, будто овечкам сена скинуть, а сама обопрется на вилы и смотрит, как мужик на крыше доски приколачивает. И черный трехлапый кобель насторожит уши и тоже уставится в соседний двор, словно и у него свой интерес. Не раз Варя вздрагивала от нехорошего предчувствия, злилась на Золотую Рыбку, хотела высказать ей то, что надо, но все не решалась. Да и Василий посмеивался:

— Пускай смотрит, тебе-то что! Или боишься — отобьет! Так она вон какая старая.

— Кто ее знает, ворожею. Не нравится мне это, на душе тревожно, — отвечала Варя, и, наверное, у нее все-таки было от чего беспокоиться. Вся жизнь Атясовых проходила под неусыпным Рыбкиным взглядом. Как дом строили — старуха видела во всех подробностях. Новую мебель везли — и ее старуха не пропустила. Купили холодильник — и на него смотрела Федоровна из-за забора. Сережку из роддома и того не проворонила, проводила в дом цепким сво-

им взглядом. Варе к крыльцу пришлось боком идти, чтобы загородить младенца от бабкиного взгляда. Боялась, как бы та не сглазила.

«Завидует... А мы разве виноваты, что у нас жизнь хорошо складывается», — подумала Варя, но всякий раз, когда везли домой что-нибудь новое, ей было стыдно перед Федоровной, будто этой вещью, предназначенной для кого-то другого, они завладели обманом, и соседская завалуха казалась ей нарочно тут под боком поставленной, чтобы подчеркнуть, как несчастны одни и удачливы другие.

— Варя, ты дрожжами не богата?

Вот еще за что не любила Варя старуху. За голос. Голос у нее на удивление был свежий, девичий. Услышишь такой голос, обернешься и не поверишь, что исходит он из сморщенной старухи, опершейся на суковатую палку.

Варя так и замерла от неожиданности. Сроду она словом со старухой не перекинулась, при встрече старалась обежать ее подальше, и вот на тебе: дрожжей просит. Понадобились ей дрожжи. Но тотчас тайная надежда ворохнулась в ней, все-таки ворожея. Вдруг да что присоветует. Надо бы позвать. Ничего уж теперь она не сглазит. Сглазить-то нечего.

— Есть дрожжи, есть! — как можно приветливее откликнулась Варя. — Ты заходи, Федоровна, в дом-то!

Федоровна вошла и зорко огляделась, узнавая вещи. Варя усадила ее на мягкий стул, принесла непочатый брикет дрожжей, подала.

— Весь кусок отдаешь ли, че ли?

— Бери, Федоровна, у меня еще есть, — сказала Варя и, вздохнув, присела рядом.

— Че вздыхаешь-то? — живо спросила Федоровна, будто дожидалась этого вздоха.

Варя безнадежно махнула рукой.

Старуха еще спросила:

— Сам-то где? На работе ли, че ли?

«А ты будто и не знаешь», — подумала Варя, а вслух сказала жалобливо:

— Какая там к черту работа. Совестно сказать. У Тимофея он. Вертолетик строит... — И еще вздохнула. — Прямо беда какая-то. Уж лучше бы запил. С пьяницей еще можно сладить. Пошла бы к директору: так и так, мол, образумьте. Его бы на собрании пробрали как следует, и был бы как миленький. А тут куда пойдешь? Не будешь же жаловаться директору, что мужик вертолет строит. Не пьет, не нарушает ничего. Что ему сделают? Надо мной же и посмеются. А сколько денег извел на эту затею — страшно сказать. Уж лучше бы и пропилил те деньги, не так бы было обидно. Ну, пропилил и пропилил. С кем не бывает. Да и мало ли чего пропивают. Так ведь на глупости. И как ненормальный стал. Никого не видит, ничего не слышит. Молчит и молчит, как идол. Откуда на него такая напасть нашла? Ума не дам. Смирный был мужик, слова поперек не скажет, и вот — на тебе... Чего ему не хватало?

— Это оттого, что жить шибко хорошо стали, — проговорила Рыбка своим девичьим голосом. — Все-го навалом в избе: и пить, и исть, и одеться. Телевизоры разные... Разбаловались люди, маются, не знают, какую им еще холеру надо.

— Да при чем тут это? — перебила Варя неуверенно.

— А при том... Раньше-то, когда жрать было нечего, глупостями не занимались.

Варя спорить не стала. Попросила тихо:

— Ты б, Федоровна, раскинула фасоль-то.

— Ну ее к лешему, — отмахнулась старуха. — Меня за ее вызывали.

— Да я кому скажу? Не дура. Ведь надо мной же и смеяться будут, если узнают, что гадала.

— Ну ладно. Жалко мне тебя. Согрешу уж.

Старуха сходила домой, принесла темный засаленный мешочек. Высыпала из него на стол пестрые фасолины, стала разбирать их на равные кучки, что-то нашептывая про себя.

Сережка, до этого молча сидевший с книжкой в углу, вытаращил глазенки, и Варя, спохватившись, выпроводила его гулять.

Рыбка, разложив фасоль, сказала вдруг:

— Знаю, милая, какая на него напасть нашла.

— Какая? — сжалась Варя.

— На него тень стрекозы упала.

Варя так и раскрыла рот, испуганно глядя на старуху. Жалела уже, что и позвала.

— Будет тебе, Федоровна, пугать-то, — проговорила она наконец. — Какая еще тень? Чего собираешь-то?

— А такая. С крылышками. От стрекозки... Нет, милая, видно, не ты первая, не ты последняя. Никуда не денешься, у каждого мужика есть какая-то отдушина. Либо пьет, либо треплется, а то как твой — строит какую-нибудь холеру, зря изводится.

— Вон ты про что, — немного успокоилась Варя. — Говорят, у Василия и отец был немного не в себе. Может, от него что передалось. Он ведь тоже пить не пил, а заберется на крышу и горланит песни на всю деревню.

— Чего не знаю, того не скажу, — замялась старуха. — Ты лучше скажи мне: если уберу с мужика эту самую тень, чем меня отблагодаришь?

— Так вы скажите сами, сколько надо.

— Я деньгами не хочу, — помотала головой Рыбка.

— Могу из одежды что дать.

— Одежа у тебя больно модная. Не по старухе.

— Ну, тогда не знаю. Скажите сами.

— Обещай, что Василий гроб мне сделает.

— Да ты что, Федоровна! — обомлела Варя. — Какой еще гроб, ты ведь живая. Как можно!

— Ноне живая, а завтра нет. Ты пообещай.

— Так делает, чего же не сделать. Соседи ведь...

— Уж пусть сделает. Мне в его гробу хорошо будет. Рука у него легкая, ласковая. На Митьку моего шибко он похожий. Такой же рукастый. Только давно нетука Митьки-то. Все ушли, а я вот осталась, мыкаюсь. Ты уж попроси мужика, пусть постарается. Я вас оттуда благословлю.

Скоро Рыбка ушла, а ошарашенная Варя как сидела на стуле, так и осталась сидеть в оцепенении, ни рукой, ни ногой двинуть не может. Всю страх спеленал. И тут Василий с Сережкой входят.

— Папка, они гадали, — рассказывал Сережка. — Меня прогнали, а сами гадали фасолью. С бабушкой Рыбкой.

— Если не выбросишь дурь из головы, уйду к маме. Заберу Сережку и уйду. Живи один, раз семья надоела, — говорила Варя сквозь слезы.

— Давай, давай... — потерянно повторял Василий. — Иди к маме. — Ему было уже все равно.

Потом они молчали, и снова сиротливо было в доме, даже еще сиротливее, чем в тот раз, когда оба ушли из дома. Тогда хоть ушли, а тут семья в сборе, а кажется, что дома — никого, одни пустые стены.

5

Василий проснулся и некоторое время лежал без движения, глядя в темный потолок и соображая, который идет час. Прислушавшись к дыханию жены, которая спала теперь отдельно, он осторожно поднял голову и разглядел за занавесками слабый сиреневый свет.

«Поздно, уже светает», — подумал он.

На столе четко тикал будильник. Сегодня он не зазвонит, хозяевам некуда собираться — суббота. Потому и поднимался Василий с раскладушки тихо, стараясь не скрипнуть, иначе Варя может проснуться и спросить, куда это он в такую рань.

На дворе было сумрачно и зябко, наверное, уже лужи подморозило. Небо же было чистое, звездное, и он порадовался, что хоть с погодой повезло. Спал в эту ночь плохо, видел обрывки странных снов, которые не запоминались, от них оставался лишь тяжкий осадок в памяти. Очень его погода беспокоила. То ему казалось, что на улице поливает дождь, и он даже явственно слышал шум дождя, то чудилось, что небо сплошь обложено тяжелыми, до земли, тучами, и эту их тяжесть он ощущал всем телом. А на самом деле оказалось лучше, чем ожидал. День обещался сильный и звонкий.

...Тимофей долго не отпирал. Потом в темной комнате обозначилось движение. Скрипнули половицы, шелкнул откинутый крючок, и на пороге, в исподнем, появился заспанный хозяин. Позевывая, он впустил раннего гостя, зажег свет.

— Ты чего так рано? Ни лешего еще не видать.

— Самое время. Пока соберемся, пока что. Мишка бы скорее пришел.

— На что он тебе?

— Болты на лопастях жидковаты, обещал новые нарезать.

Тимофей хмыкнул, но ничего не сказал. Спросил только:

— Ты, верно, не евши? Чаю согреть?

— Мне сейчас ничего в горло не полезет.

— Боязно?

— Как тебе сказать... Мало ли что может...

— Так не лети. А то еще гробанешься.

— Не накаркай.

За окном уже порядком развиднелось, и Василий забеспокоился:

— Давай, Тимофей, выкатим машину на поле. Уж лучше там его подожду, а то гляди — светло как.

Под навесом в сумраке едва угадывались контуры вертолета. Василий взялся за стойку колеса, уперся плечом. Творение его оказалось нетяжелым, к калитке выкатили вполсилы. Там остановились.

— Разберем забор, — предложил Василий.

Тимофей молча принес гвоздодер. Забор разобрали, доски оттащили в стороны. Снова покатали вертолет.

— Пстой, — вспомнил Василий. — Ты бензину обещал авиационного.

Тимофей снова помялся, принес канистру, предупредил:

— В случае чего, не говори, что у меня взял. У охотников, мол, им дают для пушнины — обезжиривать.

Наконец машину выкатили на облюбованное Василием место. Перевели дух.

— Где Мишка-то? — переживал Василий. — Ведь договорились. Я ему полста рублей дал за работу.

— Вот это зря, — покачал головой Тимофей, — надо было потом, когда все сделает, тогда и дать.

— Он иначе не соглашался.

— Ну вот. Жди теперь его... У него вчера в доме скандал был. Кажись, Рыбка к ним приходила. Поди, рассказала его бабе, та и взяла в оборот. У него баба — гром.

Василий сплюнул с досады и, отойдя от машины, разглядывал ее со стороны чужими, оценивающими глазами.

Дымное солнце, краешком высунувшееся из-за темной стены леса, осветило зеленый бок вертолета, оттенило, как ребра, переборки из-под крашеной материи. Засияло оргстекло кабины, по лакированным сосновым лопастям скользнули быстрые блики. Вспыхнула красная звездочка на фюзеляже.

— Пошто звезду-то нарисовал? — спросил Тимофей. — Звезды только на военных бывают, а у тебя — личный. Не положено.

— А пусть светит, — смущенно улыбнулся Василий. — Со звездочкой как-то веселее.

— Ты че же, полетишь? — спросил Тимофей, заметив, как напряжился Василий, как построжел лицом. — А болты?

— Может, старые выдержат. Назад мне пути нету, Тимофей.

Василий еще раз оглядел свою машину всю сразу, надеясь увидеть в ней ту силу, которая оторвет от земли, прерывисто вздохнул и, решившись, полез в кабину. Умогнулся на фанерном сиденье, закрыл дверцу приспособленным для этого оконным шпингалетом. Махнул рукой Тимофею: давай!

Тимофей поднял заводилку — палку с ременной петлей на конце, зацепил ею за лопасть, нерешительно глядел на столяра.

— Дергай! — кричал Василий.

— В какую сторону? — не понимал Тимофей.

— По часовой стрелке!

Тимофей медлил, соображая, видно, как идет стрелка на часах.

— По солнышку! По солнышку! — крикнул еще Василий.

— Так бы и сказал, — проворчал Тимофей, рванул петлей лопасть с такой силой, что Василий заопасался, как бы она не оторвалась.

Мотор не срабатывал.

— Не пойдет без Мишки, — сказал Тимофей.

— Пойдет, никуда не денется. Ты дергай, Тимофей, дергай!

Мотор стрельнул раз, другой и вдруг гулко затрещал. Тимофей, пригнувшись, тут же отскочил в сторону, а у Василия враз перехватило горло. Потной ладонью он ухватился за ручку газа, сбрасывая обороты. Руки дрожали и были как чужие, может, от волнения, а может, и от тряски. Тряска на самом деле была сумасшедшая. Дрожало все: и фанерное сиденье, на котором умогнулся Василий, и тонкие, обтянутые материей стенки, и стекла кабины.

Василию удалось отрегулировать мотор на малых оборотах, и теперь он привыкал к новому своему состоянию. Он глянул в окно, увидел, как мельтешит винт над головой, и от винта стелется на земле сухая трава. Желтое облачко пыли висело в воздухе, и от этого стекла кабины казались мутноватыми.

— Ну... — сказал Василий сухими губами и перевел дух.

Раньше, еще когда только думал строить вертолет, ему казалось, что полетит он легко и просто, что машина будет послушна его желаниям, повернет туда, куда он захочет. Но вот машина обрела реальную плоть, и Василий понял: дело обстоит сложнее, чем думал. За спиной — громоздкий мотор, который может не только поднять над землей, но и ударить о землю. И Василий загодя тренировался: садился в кабину, водил ручками туда-сюда, привыкал. Но тогда машина была тиха и послушна. Сейчас она была жива, перед ним все дрожало и гудело, и Василию

вдруг подумалось, что Тимофея он видит, возможно, в последний раз. Но он отогнал от себя эти мысли.

Будто чужой рукой потянул на себя Василий ручку газа, замирая от нарастающего гула мотора и воя ветра, пугаясь жуткой тряски, от которой, казалось, вот-вот рассыплется легкая машина.

Грохот все нарастал, нарастал, и вдруг Василий почувствовал, как вертолет легонько качнуло сбоку набок. Он крепче вцепился в ручки, инстинктивно глянул в окно и снова увидел Тимофея. Но увидел не так, как раньше. Тимофей будто стал ниже ростом. Василий видел его запрокинутое вверх, скалящееся в улыбке лицо.

«Лечу!» — обожгло его.

Сколько ждал Василий этого мгновения, сколько перемучился и перетерпел ради него, а теперь, когда вертолет завис над землей, удивился как неожиданности. И тотчас радость нашла его, залихорадила. «Кто говорил — не полечу? Вот тебе и не фабричный! Да я, может, еще и не это могу! Гляди, Тимофей, все глядите!» Он жалел, что еще рано и никто не увидит его полета. Но все равно ведь в деревне будут говорить: «Слыхали, Васька-то, столяр, полетел!» И все его переживания и мучения, даже разлад с Варей показались пустыми, мелкими, они сразу ушли, будто оставил их на земле. «Полетел, никуда не делся, — жгло Василия. — Мы такие!»

Тимофей медленно уплывал в сторону. Вот он исчез, и впереди завиднелась зубчатая стена леса, словно обожженная сверху солнцем. «На лес несет», — понял Василий и стал соображать, как бы чуточку развернуть машину, чтобы пойти вдоль леса. Он слегка потянул рычаг поворота, но, такие послушные на земле, рули отчего-то не слушались. Вертолет никак не хотел разворачиваться. Кабина только склонилась к земле так, что Василий едва не сползал с фанерного сиденья, и машина двигалась прямо на лес, не поднимаясь и не опускаясь.

Внизу плыл низкий кустарник, он едва не попал под винты. Сбоку бежал Тимофей, размахивая руками, советовал, видно, подняться выше или, наоборот, сесть. Но сесть тут было нельзя — попадались пни и выворотни. Оставалось одно — подняться, и Василий уже не замечал Тимофея, неотрывно смотрел на приближающуюся стену леса, все смелее и смелее тянул на себя ручку газа, чтобы взмыть над этим лесом, над низким еще солнцем, шептал спешимися губами: «Ну, давай, миленький, давай... Подымайся туда, в небо... Подымайся, а то втешемся в сосны...»

Он уже ясно различал деревья. В ясном осеннем воздухе, осветленные солнцем, мягко розовели стволы сосен, а хвоя их была темна и плотна. Между ними желтели березы, и кое-где застывшим дымом серели осины, будто подернутые пылью — увядающие. Все это надвигалось на Василия, а машина,

будто привязанная к земле невидимыми путами, не хотела подниматься.

«Так и правда втешемся», — понял Василий и с отчаянием рванул до отказа ручку газа, надеясь, что мотор все же порвет невидимые пути, бросит машину вверх, в голубую, близкую бездну неба. Но подступавшая зеленая стена не проваливалась вниз, она заслоняла собой все небо.

И вдруг, холодея, Василий услышал жуткий, необычный треск над головой. Обгоняя машину, что-то сверкающее на огромной скорости пролетело к деревьям, ударилось в ветви, ломая их и срезая, и машину тотчас трянуло с такой силой, что Василий лбом врезался в стекло и почувствовал, как он проваливается вниз. Он еще слышал треск древесины, сухие хлопки лопающейся материи, скрежет чего-то металлического, а потом все это куда-то ушло...

С трудом Василий вылез из-под обломков своей машины. Неуверенно, будто впервые в жизни, поднялся на ноги, постоял, качаясь, но колени не держали, и он привалился спиной к шершавому стволу сосны с израненными сверху ветвями. В глазах мельтешило красное зарево, мешало видеть. Он хотел протереть глаза, но правая рука не поднялась и заныла, когда двинул ею. Протер глаза левой рукой и увидел на ладони кровь. Кровь его не удивила, будто была она совсем не его, чужая.

На вершине сосны шелестело что-то живое. Он запрокинул голову, глядел, как на сломанную ветвь мостилась сорока, как косила вниз пугливым быстрым глазом.

— Не видала такого чуда? — прохрипел Василий. — Гляди сколь влезет. Не убавится. — И опустил голову.

Под ногами лежало отломленное колесо. Василий повел глазами дальше и увидел свой искореженный вертолет. Вырванный ударом, мотор валялся рядом со щепками от винта. Был мотор еще жив: в нем что-то всхлипывало и постанывало. Сверкающими блестками лежали в мятой траве осколки оргстекла, на них было больно глядеть. На оторванной дверце, отброшенной далеко от машины, висел на одном шурупе оконный шпингалет, которым Василий заперся в кабине.

В лице Василия что-то дрогнуло. Он поглядел на все это, разбитое, исковерканное, так заботливо и старательно некогда им добытое, и вдруг почувствовал не боль и отчаяние, а облегчение. Пнул ногой колесо с отломленной осью, которое откатилось и упало в траву, глянул еще раз на нелепо выглядывший тут оконный шпингалет и вдруг рассмеялся.

Сорока дернулась на ветви, отчаянно взмахивая крыльями, и это еще больше насмешило Василия. Он засмеялся уже громче, и эхо понесло по лесу его

смех. Смеялся долго, до слез, изумляясь, что никогда раньше он так весело и щедро не смеялся. И так ему легко, так хорошо...

Подбежал Тимофей, остановился, раскрыв от неожиданности шербатый рот, запаленно переводил дух. Смешно было смотреть Василию на обломки машины, на перепуганного Тимофея, его качало от смеха, и он хохотал, пока не закололо в груди.

Тогда он затих и опечалился.

— Что, Тимофей, — спросил хрипловато. — Думаешь, тронулся? Нет, Тимофей, не-ет...

И медленно пошел в село.

На краю поля его встретила Варя и увела в дом.

Больничный лист Атясову хоть и выдали, но леспромхоз его оплачивать отказался: травма не производственная и вообще глупая. Сам виноват.

— Ничего, — заботливо утешала его Варя и осторожно трогала гипс на сломанной руке. — Перебьемся, Вася. Вот рука подживет, и мы свое наверстаем. Правда, ведь?

— Правда, — согласно качал головой Василий. — Наверстаем. — И виновато говорил: — Руки у меня зудятся без работы. Скорее бы уж.

И снова ладно стало в доме Атясовых, тихо стало и уютно. Варя ни в чем мужа не укоряла, будто ничего и не случилось. Иногда только спрашивала задумчиво:

— Так что же, Вася, с тобой было-то? Ведь это надо ума лишиться — вертолет строить. Понять не могу.

Отвечал неохотно:

— Не знаю... Накатилось...

Когда жена была на работе, а Сережка в школе, Василий, не вынося безделья, уходил за село, глядел на еще больше потемневшую на фоне желтого поля зубчатую стену леса, похожую на перевернутую вверх зубьями пилу. Удивлялся: в прошлые годы зима приходила быстро и оседала плотно, а тут что-то сдвинулось в привычном течении сезонов.

И на самом деле — необычное творилось в природе. Давно ушел тихий, золоченый сентябрь, уже последние дни октября закатывались, а на бурую полеглую траву, прихваченную первым зазимком, никак не ложился снег. Березы и осины стояли давно голые, с остатками вялых листьев на верхушках. Будто пристыженные они были перед соснами, ни зелены, ни снегом не прикрытые.

Небо было серое, низкое, теплое. Ворочались день и ночь на нем тучи, уже не летние, но и не зимние, не поймешь какие. Изредка ветер пригонял заплутавшую снеговую тучу. Мелкий колючий снег косо падал вниз и таял — теплая земля не принимала его. Но иногда небо вскрывалось полынями такой неожиданно близкой голубизны, что сердце заходило непонятно от чего. Вот такая стояла осень...

Георгий Егоров

(1923–1992)

Мишка

Мишка — это мой буцефал, рыжий, косматый, с маленькой змеиной головкой. Мишка — трофей. Бывший хозяин наверняка звал его иначе. Но у меня он был Мишкой, откликался на этот зов, слушался. И вообще любил меня, а я любил его. Достался он мне при неожиданных обстоятельствах.

Немцы отступали торопливо. Наши полки не успевали их преследовать — грязь по колено, дороги разбиты, артиллерия застревала надолго. Конному взводу разведки был приказ: висеть на плечах противника и ежедневно конноарочным сообщать в штаб полка о продвижении. Направление на Копычинцы (это было в Тернопольской области, на Украине). Конноарочных я отправлял ежедневно, а возвращаться они не успевали — просто не в состоянии были догнать нас.

И вот, когда мы почти добрались до самых Копычинцев, на какой-то машине-вездеходе догнал нас связной командира полка с приказом повернуть круто на юг, на город Чертков — полку дали другую задачу, а в связи с этим и другое направление.

Карта, которую я получил в штабе полка, обрывалась Копычинцами, и Чертков нам предстояло разыскивать по расспросам у местных жителей. Пока мы выбирались из села, в котором нас догнал связной, все время уточняя у встречных направление на Чертков, наступили сумерки. Неожиданно началась сильная метель. После мы узнали, что даже самые древние из старожилов Западной Украины не помнят таких буранов в апреле. Сырой, липкий снег повалил хлопьями и буквально за несколько минут преобразил окружающую степь, завалил дороги.

Я вел взвод по компасу строго на юг. Надеялся лишь на одно: села здесь расположены густо, на какое-нибудь из них непременно набредем.

Когда уже окончательно стемнело, мы набрали на какой-то хутор (после узнали — хутор Михайли). В первой хате спросили, нет ли немцев на хуторе, и поехали дальше — решили не останавливаться с краю хутора, чтобы не каждый на тебя натыкался в случае чего. Разместились мы в трех избах в самой середине хутора. Измученных лошадей поставили в теплые дворы, расседлали.

Двое суток кружила метель, не видно было ни зги, за окном бело, как в банке с молоком. Покидать хутор мы не торопились, знали, что ничейная полоса почти не сокращается: наши едва ли продвигаются в такую погоду и едва ли могут напороться на немцев; немцы тоже наверняка отсиживаются, и нам не грозит потеря их следа.

По-мирному уютно жили мы эти двое суток. Если бы не автоматы, составленные в кучу около дверей, ничто не напоминало бы о войне. Гостеприимные дед с бабкой, чем-то похожие на Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну, — а может, просто мне, еще со школьными представлениями о мире, лишь почудилось это сходство, — потрескивающие в печи дрова, занавески на окнах, гора подушек на кровати — так быстро мы освоились с этой мирной обстановкой, что буквально следующее утро уже почувствовали себя «цивильными» людьми...

На третьи сутки рано утром мы проснулись от ошеломляющей тишины — уже не хлопали и не скрипели ставни, не гудел ветер в трубе. Глянули в окно: белизна аж до рези в глазах. Мы выскочили во двор, стали обтираться снегом, играть в снежки.

Когда бабка начала собирать на стол завтрак, а мы, разгоряченные, взбодренные, вытирались полотенцами, в двери постучали. Вошли двое. У обоих наши, советские автоматы на шее. Один из вошедших в немецкой зеленой шинели, но в русских кирзовых сапогах и в нашей армейской шапке; другой в белом военном полушубке, тоже в кирзовых сапогах и в нашей армейской шапке с красноармейской звездочкой. Все это я схватил глазом мгновенно. Было в них что-то такое, что сразу же не допускало и мысли о том, что они солдаты Советской Армии (нет, не немецкая шинель на одном из них — и в нашей армии были любители трофейного барахла). Вероятно, обратило внимание нечто непривычное для нас в манере держаться, налет неуверенности и даже еле уловимой настороженности. Это заставило меня как командира сразу же спросить, кто они.

— Мы партизаны. Наш отряд выходит из тыла и идет на отдых.

У меня с детства особая симпатия к партизанам. Все партизаны для меня — герои. Мы рассуждали так: мы воюем, не оглядываясь назад, тыл наш обеспечен. А каково им? Крутом враги!..

Видимо, не один я так думал. Мы обрадованно начали приглашать гостей за стол. Дед достал из шкафчика графин спирту (в соседнем селе немцы бросили совершенно исправный спиртзавод с большим запасом изготовленной им продукции). Нам очень хотелось сделать приятное партизанам. Но парни твердо не отходили от двери и не снимали с шеи автоматы. Лишь попросили:

— У вас свежие газеты есть? Дайте, пожалуйста. Мы очень отстали.

Газета недельной давности в наступлении считалась очень свежей. Пока мы завтракали, они сидели у порога и читали газеты, то и дело поглядывая на нас, иногда бросая взгляд на составленные в углу у двери наши автоматы. Я расспрашивал их, откуда они родом, давно ли в партизанах. Вдруг они поднялись.

— Вон наш отряд идет, — кивнули они за окно и, попрощавшись, быстро вышли.

По улице двигался конный отряд чуть побольше нашего взвода. Впереди командир на высоком, но коротком вислозадом коне с длинной шеей и маленькой головкой. Я почему-то обратил внимание на этого несколько непривычно голенастого, неуклюжего и косматого коня. В середине колонны двигалась тачанка со станковым пулеметом.

Мы завтракали долго и основательно, потому что обеда у нас не предвиделось, и вообще невольно старались продлить наше беспечное житье в домашней обстановке. А когда начали седлать коней, в ограду вбежала растрепанная плачущая женщина. Она бросилась к нашему старшине Федосюку, приняв его по дородности за главного начальника.

— Бендеры ограбили!.. Товаришочки, помогите... Защитите от бендеров!..

С трудом выяснили: она поповна, живет с отцом, священником православной церкви, на конце хутора. Проходивший сейчас отряд бендеровцев заехал к ним в дом и забрал все, что только можно увести, даже корову. Я видел, как у разведчиков вспыхнули глаза. Смотрели ребята на меня и улыбались: дескать, хоть поповна, а давай сделаем благородное дело...

За хутором мы увидели ехавших кучками бендеровцев — то ли они на ходу делили добычу, то ли, уверенные в своей безнаказанности, просто разговаривали, но явно не торопились. Гикнув на коней, мы рассыпались цепью, припали к конским гривам — и засвистел ветер в ушах. А сердце! Сердце от восторга готово было вырваться наружу. Первый и единственный раз ходил я тогда в конную атаку. С детских лет по кинофильмам и книгам любил кавалерию, особенно Первую Конную. И, видимо, мальчишество не прошло к тому времени. Да, кажется, не у меня одного. В эту минуту ребята, по многу раз раненные и видавшие уже смерть в глаза, играли в войну и очень жалели, что не было у нас клинков — не снабдил нас начальник боепитания этим видом оружия, видимо, считал лишним его. А нам очень уж хотелось почапаевски помахать шашкой — двадцатилетние лейтенанты порой и на войне оставались мальчишками!

Бендеровцы не ожидали нападения. Они точно знали, сколько нас, знали, что их больше. И все-таки растерялись и кинулись наутек. Поповская корова была привязана к тачанке и мешала не только стрелять, но и удирать. Наконец пулеметчик догадался отрезать бечевку. Лошади рванули. Пулеметчик запустил по нам длинную очередь. Но левая пристяжная угодила в глубокую яму, присыпанную свежим снегом, завалилась, тачанка передком ткнулась следом за ней. Пулемет с неимоверно задраным стволом превратился чуть ли не в зенитный. Пулеметчик ничего не мог сделать. Он соскочил с тачанки и... полез под нее. Не выдержали нервы и у остальных

ных. Оставшись без пулеметного прикрытия, бендеровцы начали останавливать лошадей, бросать оружие и поднимать руки. Их оказалось двадцать два здоровенных мордатых парня. Полхутора сбежалось потом смотреть на бандитов — видимо, их тут уже знали, они не раз наведывались сюда.

Завладев трофеями, мы решили часть своих коней заменить. Я, правда, не собирался менять гнедка, но дед-хозяин, внимательно осматривавший лошадей, подошел ко мне.

— Начальник, бери вот этого. Добрый конь!

И я узнал того голенастого, короткого, с вислым задом коня, на котором утром ехал по селу главарь банды. Я подошел к коню. Он прижал уши, и голова его стала особенно похожей на змеиную. Половина банды обернулась и смотрела на меня и на коня. Я понял, что они ждут зрелища, надеются, что просто так он мне не дастся. Наездник я был не ахти какой, поэтому не удовлетворил их любопытства — отложил более близкое знакомство с конем «на потом»...

До последнего дня пребывания на фронте я добрым словом вспоминал того деда с хутора Михайли. Коня я окрестил Мишкой, кормил его из собственных рук, часто чистил. В банде, наверное, его ни разу не почистили, а ему, оказывается, очень нравилась эта процедура.

На фронте не только люди быстро знакомятся, но, видимо, и животные привыкают к людям быстрее, чем в обычных условиях. А может, это просто так кажется. Во всяком случае, мы очень быстро подружились с Мишкой. Я потакал ему в его слабостях: он любил сахар и терпеть не мог, когда его привязывали, — до тех пор будет натягивать повод, даже на костреч сядет, пока не порвет. Оторвется и тут же будет стоять, шага не отойдет. Когда я это понял, не стал привязывать. За доверчивость он платил тоже доверчивостью — ни разу не ушел с места, на котором его оставил.

Бегал Мишка быстрее всех лошадей в полку — я не раз состязался и всегда выходил победителем. О его резвости и в то же время о его внешней неказистости дошел слух до командира дивизии полковника Охмана. Говорили, что Охман калмык, знал толк в лошадях. И когда однажды он увидел меня на моем Мишке, остановился, удивленно уставился на Мишку, поманил меня пальцем. Я подсказал, доложил как положено: командир конного взвода разведки такого-то полка прибыл по приказанию... А он не слушал меня, смотрел на Мишку, смотрел и качал головой.

— Ну и ну... — И снова качал головой. — А ну, дай пробежку...

Мне, конечно, хотелось блеснуть всеми статьями моего любимца, но я понимал, чем это может кончиться: просто-напросто заберут его у меня, и все, заберут, если он понравится. А не понравиться понимающему человеку он не мог. Когда Мишка бежал, он преображался, совершенно исчезала его не-

уклюжесть, он не казался таким коротким и высоким. Он становился красавцем.

Когда я после пробежки снова подъехал к полковнику, он еще с большим удивлением и любопытством смотрел на Мишку. Потом глянул на меня. Человек, любящий лошадей, конечно, не мог не уважать это самое чувство у других. А он с первого взгляда понял, что я люблю Мишку. Улыбнулся, сказал:

— Ну так что, разведчик, махнем? — и подмигнул кому-то из своей свиты.

— Ваш конь лучше, товарищ полковник, — промямлил я, холодея.

— Я не на своего. Вот на любого из этих, — указал он назад.

Две трети свиты составляли связные полков, спецподразделений, какие-то штабные работники — те, кому по должности не положено иметь коня лучше, чем у комдива. И так мне стало жалко своего Мишку, так защемило сердце, что я на какое-то мгновение позавидовал своему коню: хорошо, мол, тебе — ты скотина и понятия не имеешь о военной субординации... И я взмолился:

— Товарищ полковник, в бою добыл коня... жизнь спас он мне... — не соврал, а, как говорят в армии, «нашелся» я. — У вас же конь добрый...

Видимо, жаль стало полковнику меня, а может, просто не хотел портить настроение своему разведчику — на войне и так людям не мед, — только ничего не сказал больше, тронул шпорами своего полукровного донца и поехал дальше. Я остался на обочине дороги, не зная, радоваться или досадовать. Кто-то из замыкающих в свите в накиннутой на плечи плащ-палатке, проезжая мимо, дружески сказал:

— Повезло тебе, парень. Запросто мог лишиться коня... По лошадиной части полковник дока.

А меня грызло другое: вдруг спросил бы комдив, как спас конь мне жизнь. Что бы я ответил?

Потом-то Мишка действительно спас меня. Через несколько дней после встречи с командиром дивизии мы впятером напоролись на немецкие самоходки, замаскированные на опушке леса. Обнаружили мы их в сотне метров. После этого только резвость коней могла спасти нас. С полдюжины снарядов выпустила по нам одна из самоходных пушек. Но не успела пристреляться (а пулеметов, наверное, не было). Мгновенно вынес меня Мишка из зоны прицельного обстрела за бугор.

Но чаще всего в послевоенные годы вспоминается мне один очень неприятный, а точнее сказать, постыдный для меня эпизод.

Теперь уж не помню, откуда и куда я ехал в то утро. Но помню, что дорога тянулась около озера и была пустыня. Вдруг откуда-то вывернулся «мессершмитт», и тут же донеслась пулеметная трескотня. Я сначала не обратил на это особого внимания. Но когда после второго захода около меня зацокали

пули, я понял, что летчик охотился за мной. Я насто-рожился. И едва лишь «мессер» начал снова разворачи-ваться над дальним леском, я не стал испытывать судьбу, соскочил с седла и кинулся к берегу под огромную корягу. Только-только я успел нырнуть под разлапистые корни, как по озерной глади рядом прошла очередь, потом пули зачвыкали по песку, взбивая маленькие фонтанчики. Коряга, может, не такое уж и надежное укрытие от пулемета, но все-таки. Через полминуты снова вой пикирующего истребителя, татаканье пулемета. И вдруг в минутную паузу слышу, кто-то бежит ко мне — значит, не по одному мне палит немец.

Топот прекратился, и вижу перед своим укрыти-ем ноги Мишки. Высунулся — а Мишка наклонил голову и заглядывает ко мне под навес корней. И по-казалось мне, что в глазах его столько упрека и жало-сти, сколько, наверное, не всегда бывает в человече-ском взгляде. Почудилось мне, что Мишка хочет сказать: «Разве поступают так друзья? Я — животное, но ты-то человек!..»

Я вылез из своего укрытия, обнял Мишку за шею, и мы побрели по берегу — я виновато, а он обрадо-ванно и доверчиво.

Недели две спустя после этого эпизода командир нашего полка полковник Пономарев прислал своего ординарца с приказом забрать коня. Комполка не был любителем лошадей, и мой Мишка ему понадобился наверняка для того, чтобы похвастать в штабе дивизии, удивить людей. Я очень хорошо знал своего командира полка, чтобы пытаться что-то доказать ему. Мишку по-вели без седла, голенастого, косматого, неохотно под-волакивающего сухие задние ноги. В чужих руках из-дали он показался мне заспанным, неприбранным долговязым подростком. Вначале он шел спокойно: привык к тому, что дневальный водил на водопой. За-оглядывался и забеспокоился он тогда, когда был уже далеко, когда понял, что его уведут от меня. В конце улицы он закрутился, начал вырываться. Дальше я не стал смотреть, ушел в дом, лег на солому и приказал се-бе заснуть — ночью предстояла вылазка за «языком», надо было отдохнуть. Война-то продолжалась...

Мишка прибежал вечером с оборванным пове-дом (конечно, его там привязали) и заржал. Весь взвод выскочил из избы. Обступили его, кто совал кусок хлеба, кто сахар — в другое время никто бы не обратил внимания на Мишку, а тут он оказался в центре внимания. Не вышел только я — у меня про-сто не было сил еще раз смотреть, как его поведут.

Втайне я лелеял маленькую надежду: мне думалось, что за Мишку может заступиться начальник разведки полка капитан Колыгин. Но надежде моей не суждено было осуществиться. Через несколько дней вместе с Колыгиным я был тяжело ранен.

С передовой везли меня на повозке мимо штаба. Я лежал на соломенной подстилке и смотрел в яркое

весеннее небо. Я чувствовал, что уже отвоёвался, что мой путь теперь лежал домой, прощался с ребятами, с которыми прошел под пулями не одну сотню кило-метров. Старшина Федосюк принес мои документы, мешок. Спросил:

— Мишку привести?

Я потерял много крови и находился в состоянии такого полубезразличия, поэтому отрицательно качнул головой — дескать, не до сентиментальности. И мы поехали в госпиталь. Вдогонку послышало-сь тревожное ржание. Мишка меня почуял?

А может, мне показалось?

Но уходят годы, и мне все больше кажется, что это был голос Мишки. И порой становится неимо-верно жалко, что не попрощался я тогда с ним.

Анатолий Соболев

(1926–1986)

Звонит в ночи луна

Велика услада — гнать в ночное лошадей. Прихватив старую одежку, мальчишки являются вечером на райисполкомовскую конюшню. Дед Савостий уже ждет. Андрейка, Данилка и Ромка по очереди подво-дят лошадей к телеге и с нее бросаются животом на конские спины. Угнездившись как следует — и ну айда! — мчатся на увал. Вцепятся мальчишки в жест-кие холки, колотят голыми пятками по лошадиным гулким бокам и с гиканьем несутся наобгонки — только рубашки пузырит встречный ветер. Следом, не отставая, пластаются в полете над землей дедовы собаки. А позади трусит на жеребой кобыленке и сам дед Савостий. В поводу у него старый мерин. Дед что-то кричит, да где там, разве услышишь, когда ве-тер свистит в ушах, а в голове одна мысль: не слететь бы, не жмякнуться оземь!

Злой жеребец Гнедко вырвался вперед, и Данил-кина душа ликует — по два десятка щелчков вломит он дружкам по лбу. Таков уговор: кто первым доска-чет до увала, тот бьет.

Гнедко всё наддаёт и наддаёт. Данилка чувствует под собой горячие тугие мускулы, слышит, как жар-ко дышит жеребец, и сам проникается горячностью коня, и уже кажется, что несется он, Данилка, впе-реди конной лавы и в руках его сверкает на закатном солнце сабля, а за плечами развеивается черная бурка, как у Чапаева-героя, и над вечерней степью гремит грозное «Ура-а!» красных конников, и позорно бегут колчакотцы!

Гнедко с маху берет канаву, и Данилка, не усидев, через голову жеребца летит на траву, тяжело ударяется

спиной о бугор. Вспыхивают в глазах искры, но он успевает близко и отчетливо увидеть над собой тугое лошадиное брюхо с вздутыми жилами и ярко блеснувшие подковы с острыми шипами. Данилка в страхе зажмурился, ожидая, как разможжит ему голову взвившийся на дыбы жеребец. Но Гнедко, глубоко вспахав борозды задними напружиненными ногами, с громким ржаньем опускает передние ноги вбок, рядом с мальчишкой, и останавливается как вкопанный. Дрожь волнами идет по могучему лошадиному телу.

— Данилка! — кричит Ромка, спрыгивая на скаку с коня. — Данилка!

Данилка с трудом приподнимается. Голова гудит, тело ноет, чутко отзываясь на каждое движение. На правую ногу больно ступить.

Подскакавший Андрейка сверзился с лошади, сопит, таращит глаза, ощупывая дружка: жив ли.

— Думал, амба тебе, в лепешку расшибся. Аж сердце захолонуло.

— Умная животина, едят ее мухи, — шамкает дед Савостий. Он уже притрусил на своей кобылке. — У его мог хребет порваться с натуги.

Все смотрят на жеребца, а тот спокойно щиплет траву и отмахивает хвостом серых злых оводов.

Подсадили Данилку на Гнедка, тронулись дальше.

У озера, под косогором, поросшим молодым березняком, спешились. И прежде чем пустить лошадей пастись, ведут их на водопой. Гнедко нюхает воду, звучно делает глоток и поднимает красивую сухую голову. Долго смотрит вдаль, на закат, на поля, по-вечернему затихшие, на дальние синие горы. С черных бархатных губ падают капли и звонко разбиваются о багряную зеркальность воды. Дед Савостий потихоньку посвистывает, принуждая лошадей пить, и они тягуче сосут воду. Данилка тоже призывно посвистел, и Гнедко, глубоко вздохнув, принимается пить. Слышно, как вода переливается в его огромном брюхе. Данилка думает, что если жеребец поднатужится, то выдует все озеро.

Наконец лошади напились, с чавканьем выдерживают ноги из тины и тяжело взбираются на твердь, где сразу же припадают к сочной, набравшей силу траве. Гнедко уходит от воды последним, ударив передней ногой и разбив стеклянную зарю. По воде идут темные круги.

Теперь наступает черед мальчишек. Под веселый лай собак бросаются они в теплую воду, стараются дальше нырнуть, показать свою удаль. Дед Савостий тоже снял выгоревшую рубаху, обнажив усохшее желтое тело с втянутым животом и резко выступающими позвонками. Лицо, шея и кисти рук в темно-коричневом загаре резко отличаются от остального тела, будто с умыслом вымазаны глиной. Закатав портки до колен и перекрестясь, дед входит в розовую гладь, зачерпывает ладошками воду, обливает себе живот и звонко шлепает по бокам, ухает, со стар-

ческой веселостью обнажая в улыбке беззубые десны, и смешно передергивает острыми плечиками.

— А вот кто донырнет до ентой коряжины? — Он показывает крючковатым мокрым пальцем на торчащую из воды корягу.

Мальчишки, поднабрав воздуха и сверкнув голым задом, ныряют. Донырнул Ромка. Данилка не дотянул, а Андрейка, тот и вовсе вынырнул в стороне, к берегу, и обалдело хлопает глазами — что за напасть!

— В грудях у тебя просторно, — одобрительно говорит Ромке дед. — Кузнецом тебе быть сподручно, потому как воздуху можешь набирать как в мехи.

— Я летчиком буду, — отвечает Ромка, отпыхиваясь и стараясь не показать, что задохнулся.

— Эва, высоко берешь. — Дед сомнительно качает головой. — Упадешь — ногу вывихнешь.

Ромка набычился, упрямо молчит.

В войну он стал летчиком, и на груди его была Золотая Звезда. Над Восточной Пруссией его сбили. Он выбросился из горящего самолета, но было слишком низко, и парашют едва успел раскрыться. Старший лейтенант Роман Кержаков упал и потерял сознание. Когда очнулся, пополз на восток. Мокрый снег залеплял глаза, обожженные до мяса руки не слушались, резкая боль пронзала сломанную ногу. Из снежной мглы, как привидения, появились немцы. Роман отстреливался из пистолета, пока не остался последний патрон. Когда немцы поняли, что он не опасен и кинулись к нему, он сунул себе в рот пропахший горьким порохом ствол...

Но все это потом, через много лет. А пока мальчишки купаются, не подозревая и не думая о том, какая судьба выпадет каждому из них. И хотя вода парная, нагрета жарким июльским днем, докупались они до легкого озноба, и губы их посинели. Друзья выбирают на берег и начинают прыгать на одной ноге, наклонив голову, чтобы вылить воду из ушей.

Тем временем за озером, за лиловыми холмами присело солнце, и в воздухе разлилась светлая пустота. Легкий холодок пал на землю. Пахнет водой, осокой, тонким и нежным духом кувшинок, а надо всем господствует медвяный настой нагретого за день первого золотого сена. На том берегу косари запалили костер, и голоса их хорошо доносит по воде. Мальчишки бегут к своему костру, который уже разжег дед Савостий, и из-под ног серым дождем сыплются в траву кузнечики.

Ярко пылает огонь, пожирая сухой березовый хворост, да изредка пугающе стреляет сырой прут, случайно попавший в костер. Мальчишки пекут в золе картошку, из дому прихваченную дедом.

Он сходил уже на луг и набрал какой-то травы, греет ее пучками над огнем.

— Ччас привяжем на ночь, — говорит он Данилке. — Как рукой сымет. Верное средство. К утру женить можно.

Дед приматывает парную траву к ноге, и Данилку хватывает сладкая истома, боль утихает.

Широкая полоса зари опускается к засыпающим холмам, сужается, в нее четко врезаются вершины деревьев, на озере вспыхивают последние светлые блики. В меркнувшей бездонной выси проступают первые звезды, будто кто неслышно обивает небо гвоздями с блестящими шляпками.

Поют на том берегу косари.

Женские голоса высоко, к заоблачью, ведут песню, а снизу ее подпирают, не дают упасть мужичьи басы. Поют косари, не берегут силу, раздают ее с песней безоглядно, по-русски щедро. И оцепенело озеро, не шелохнется камыш, утихли холмы, на полу-вздохе замерли мальчишки, зачарованные силой и красотой песни. А она все набирает и набирает высоту, и радостный озноб полонит сердце. Ладная, сильная песня широко слышна по вечерней земле, летит по степи, догоняет уходящую зарю.

Дед прислушивается, вздыхает:

— Смолоду и я петь горазд был. Все парни завистью горели, а девки сохли. Как заведу, как заведу, бывало!..

Дед Савостий устремляет погрустневший взгляд куда-то вдаль, должно, молодым себя видит.

— Как пташка упорхнула жисть-то. Аукаю, аукаю — не возвращается, едят её мухи. — Он тыкает прутиком картофелину, достает из холстяной торбы соль, завернутую в тряпочку, хлеб и перья зеленого лука. — Чичас пировать зачнем.

Но тут же забывает про еду и, приложив к уху ладошку трубой, внимает песне.

А песня, чудо-песня, диво дивное, стелется над засыпающими лугами, зовет куда-то, томит, печалит сердце, и хочется пойти за ней по затихшей, умиротворенной земле, чувствуя босыми ногами прохладные травы, вдыхать духмяный запах свежескошенного сена.

Песня стихает, а мальчишки долго еще сидят в просветленной грусти, в сладостной задумчивости, еще не понимая, но чужь сердцем свою причастность и к этой дивной песне, и к этой земле, и к этому теплему вечеру.

Картошка поспела. Ребята выхватывают ее из горячей золы, перекатывают обжигающие картофелины с ладошки на ладошку, разламывают, обнажая крахмальную белизну, нетерпеливо откусывают и уже во рту дуют на кусок, и изо рта идет пар. На зубах похрустывает припеченная кожура. Дед Савостий ест со старческой неспешностью, круто посаливая картофелину серой зернистой солью. Мальчишки же глотают куски, как утята, и запивают студеной водой из мятого котелка. Дед выкатывает хворостиной картофелины из костра, говорит, как внучатам, добрея лицом:

— Ешьте, наводите тело.

Дед — личность примечательная. Каждую субботу замертво вытаскивают его из бани. Страсть любит

попариться березовым веничком. Хлещется до потери чувств. И весь он светлый, звонкий, легкий. Дунь на него — полетит, как пух с одуванчика.

До старости сохранил дед Савостий младенческое удивление перед жизнью, чист и бескорыстен, как ребенок. Среди мальчишек — он свой, допущен в детский мир на равных правах. Сменяются поколения деревенской детворы, а дед Савостий неизменно остается для них другом и советчиком. Учит вырезать свистульки из тальниковых прутьев и играть на них незамысловатые мотивчики, учит ладить брызгалки из диких дудок, обучает свистеть по-птичьи в травинку, зажатую ладошками, показывает грибные и ягодные места, учит ездить на лошадях, запрягать, распрягать, лечить от хвори. А в ночном, у костра, сказки рассказывает или про ранешнее житье-бытье повествует. Вот и сейчас уплотнились ребята печеной картошкой, закутались от ночной прохлады в зипуны, подобрав под себя босые ноги, и слушают деда, а он ведет рассказ о колчаковщине на Алтае.

— Колчаки, они колчаки и есть. Нелюди. Уйму народу погубили. Меня тоже расстреляли.

На конопатом круглом лице Андрейки крайнее удивление:

— Расстреляли, а жив?

Дед подкидывает сушняку в костер. Огонь играет бликами на лицах.

— Бог миловал. Старуха крепко молилась за меня.

— А за что расстреляли? — Черные глаза Данилки поблескивают в свете костра. Он слушает деда и неотрывно глядит на огонь.

— За Карюху. Кобылка карья имелась у меня, сама немудрящая, а выносливая — страсть! Мы с ею душа в душу жили. Захотели колчаки, чтоб я ее в обоз сдал. Реквизицию делали они, — ввернул дед словцо и значительно посмотрел на мальчишек: мол, вот какие слова знаем, тоже не лыком шиты. — А без лошади куды крестьянину податься, ложись и помирай. Сделал я ей чесотку — бракованных они не брали. Ничего, думаю, потерпит Карюха малость, покуда грозу пронесет, а потом я ее в одночасье вылечу. Однако дознались колчаки про мою хитрость, или донес кто, или сами докумекали — только повели нас семерых на увал. За саботаж, значаца, за противность приказу верховного правителя, самого адмирала Колчака. Привели нас на увал, поставили лицом к селу, залп дали. Меня будто жердь по голове звездануло.

Дед крихтит, выкатывает прутиком из костра уголек, берет на ладонь и, не торопясь, прикуривает козью ножку. Бросает уголек обратно в костер. Руки его не чувствуют ни жара, ни холода — в костяных мозолях, задубели от долгой работы.

— Очухался ночью, — продолжает дед, попыхивая самосадом. — Давит меня тяжесть. Дыхнуть не могу. Лежу, а сам думаю: «Где это я, в раю или в аду? По жисти моей на белом свете — прямая дорога мне в рай».

Прислушался, может, ангелы поют? Нет, не слышать ангелов и гласа трубного не доносит. Только ветер в траве шебаршит. Пошарил рукой, лежит кой-то на мне. Холодный. Тут и осенило меня, что лежу я промеж мертвяков. Оторопь взяла. Хоть и знакомцы все, свои, деревенские, а жутко с непривычки. Аж зубами зачал.

Андрейка при этих словах зыркает глазищами в темноту за костром и пододвигается поближе к деду. У Данилки по спине бегут мурашки. Ромка не шелохнулся, только брови белесые круто сдвинул.

Костер горит ярко, и пламя резко отделяет освещенный круг от мрака ночи, и от этого темнота кажется еще гуще, будто костер развели где-то в пещере и над головой висит черная земля.

— Столкнул я мертвеца, пригляделся, а это Митрий Подмиглазов, сосед. В парнях вместе гуляли. Я у его невесту выплясал. — Дед лихо приподнимает жидкую бровь: мол, были и мы рысаками. — Одна девка нам по сердцу пришлась, оба сохнем, а она тоже выбрать не может. Уговорились с ним: кто кого перепляшет, тот и сватов засылает. Хороший мужик был Митрий, Царствие ему Небесное, только на язык слаб. Брехун. Через него и страдал, через язык свой. При царе приедут, бывало, из волости хозяйство в реестры записывать, так что удумает: барана одного имеет, пишет — трех! И за трех подать плотит.

— Он чо, дурак был? — смеется Андрейка.

— Нет, — вздыхает дед. — Он в люди хотел выбиться, хотел, чтоб уважали его, человека в ем видели. Похлебку вечно пустую хлебал, а выйдет на зава-linkу, в зубах щепкой ковыряет, чтоб думали, что мясо ел. На покос, бывало, поедем, в обед хлеб пустой в речку макает и ест, говорит, что с жирных щей на постннику потянуло, и дохтора, мол, советуют животу разгрузку давать. Словолей был, а мужик хороший. Нужда его петлей за горло захлестнула, так и не выбрался из бедности до самой смертушки. И смерть-то через язык принял. Колчаки зачали переписывать тягло, так он возьми и скажи, что у него два жеребца чистых кровей. Когда пришли за имя — их нету. Митрия за грудки: куды коней девал? За оружие хватаются. Видит он, дело сурьезный оборот принимает, покался: «Сбрехнул, говорит, я». Не поверили и со мной на увал повели...

Дед не торопясь докурил козью ножку, бросил окурок в костер, подложил хворосту. Пламя пыхнуло, развернуло светлый круг, выхватило из тьмы лошадь.

— Спихнул, значица, я Митрия, подвигал руками-ногами — целы. А голова гудит, тряхнуть не могу. Пошупал — мокро на лбу.

Мальчишки, как по команде, смотрят на дедов шрам, он тянется по щеке к правому уху.

— Пуля со скользом прошла, — поясняет дед, — а то бы каюк, записывай в упоминанье. Пополз я. Ползу, а голова кругом идет. Полежу, отдышусь и опять ползу. Добрался до своего огорода, отлежался, бряк-

нул старухе в оконце, перепугал ее до смерти. Чуть родимчик с ей не приключился. Митрий, говорю ей, Подмиглазов в тот мир отошел, а она не слушает, крестится, молитву творит, думает, я с загробной жизни явился. Едва втолковал, что жив я — не покойник. Спрятала она меня в бане под полком, а через день и наши пришли, партизаны. А Карюху-то пристрелили колчаки, аспиды. Выходит, здря муки принимал.

Данилка слушает деда и видит памятник на увале, туда в мае носят венки. Под обелиском братская могила тех, кто боролся за Советскую власть. Слушают мальчишки деда и не ведают, что предстоит им воевать в самой жестокой из войн. Наглядятся они страданий человеческих, будут биться насмерть с лютым врагом, который захочет отобрать вот это поле, это озеро, эту тишину, и двое из сидящих сейчас у костра останутся лежать в чужой земле, вдали от родимых мест. На лугу фыркают кони и грузно прыгают со спутанными ногами. На той стороне виден костер косарей, латунной дорожкой отсвечивает он на озерной глади. Перестали звенеть в траве кузнечики, умолкли птицы. На землю пала ночь.

Из тьмы, как привидение, появляется Серко. Ребята вздрагивают. Старый мерин кладет непомерно большую голову на плечо деду. Савостий гладит ему храп. Мерин закрывает глаза, благодарно принимая ласку. Серко — заслуженный конь. Ребята знают, что в Гражданскую войну носил он лихого красного командира. И ухо у Серка отсечено в бою, и на крупе заплывшие рубцы от сабельных ударов. Уносил он с поля боя раненого хозяина своего, а за ним гнались враги, чтобы в плен взять молодого командира. Рубили беляки коню круп, пытаясь достать до лежащего без памяти в седле командира. Командир тот молодой — Данилкин отец. С Гражданской вернулся он на Серке, и с тех пор конь на райисполкомовской конюшне.

— Ну ступай, ступай. — Дед говорит ласково. — Попасись, трава-то ноне сладкая.

Савостий легонько хлопает Серка по морде, и конь послушно идет в темноту. Дед задумчиво глядит на огонь.

Андрейка уже спит, рыжая голова его и босые грязные ноги торчат из-под облезлого полушубка. Слипаются глаза и у Ромки. Вот он роняет голову, испуганно вздрагивает, взметнув белесые брови, бессмысленно поводит взглядом вокруг и окончательно засыпает. Давно спят и дедовы собаки, положив головы на лапы. От Данилки же сон бежит. Он слушает ночь. Огромная, распластала она черные звездные крылья над землей, и стихло все до утра. Костер на той стороне угас, косари спят. Великая тишина на земле.

Замер Данилка, ощущая свое кровное родство с этой ночью, с этим тихим озером и спящими холмами. Попытался представить себе, какая она огромная, его земля, и не мог — такая огромная, что идти-идти, год будешь идти и не пройдешь с краю на край.

Где-то далеко-далеко послышался петушиный крик. Ему откликается другой, третий, и у Данилки в груди теплеет от родного петушиного зова.

— Слыхал? — Дед поднимает палец. — Поют, жисть славют. Чего не спишь? Нога болит?

— Не-е, просто не хочется.

— Не хочется, — повторяет Савостий. — Это уж мне не хочется. На землю наглядеться охота, веку-то с гулькин нос осталось. А ты спи, тебе еще дорога длинная.

Из-за березняка всходит луна. В легком серебряном сиянии обозначились поля, напоенные светлым дымом, озеро, залитое лунной яркостью, березы, кованные из серебра, лошади, стоящие неподвижно, как копыны. Две из них наклонились, почти касаясь мордами друг друга, а между ними висит луна. Кажется, держат ее кони на своих гривах, и очерченные светлым ореолом силуэты их четко выделяются на темном сукне неба. Откуда-то доносит тихий нежный звон.

— Чо это? — спрашивает Данилка.

— Луна звенит, — отвечает дед.

Данилка смотрит на дивно чистую, будто прозрачную луну на гривах лошадей и верит деду — звенит луна. Притихшие кони тоже слушают этот загадочный звук.

— Ты, Данилка, на землю-то свою гляди, — раздумчиво, будто самому себе, говорит дед. — Глаза-то в руки возьми — и гляди, гляди. А то мы топчем-топчем ее, а видеть не видим, чего под ногами-то. Когда уж к краю подойдем, тогда и прозреем, ахнем — раскрасавица-то какая, земля-то наша зеленая. Ты гляди, Данилка, гляди на ее. Сердцем гляди-то, душой.

Данилка глядит. И через неморгающие глаза его, как через распахнутые настезь ворота, вливаются в сердце и эта ночь, и эта тишина, и эта луна.

Где-то рядом тяжело переступают лошади, фыркают. Смутно сереет расплывчатое пятно. Это дремлет Серко. Отстоял его дед у Данилкиного отца, когда тот хотел отправить старого мерина на живодерню. Сказал тогда он Данилкиному отцу: «Ты, председатель, душой-то не зверей, а то сердце волчиным станет и на людей олютеешь. И так уж покрикивать зачал. А Серка на мои руки оставь, мы с ним как нито старость скоротаем. Ить он же в бою тебя спас, аль запаматовал?»

— Деда.

— Аюшки?

— Ты почто папку моего ругаешь?

— Эх, удумал чего — ругаю! — дивится Савостий. — Я не ругаю, я правду говорю. Правда — она, знамо дело, горше меду, опять же — без ее прожить никак невозможно.

Дед шевелит совсем уснувший костер, тот пыхнул спросонья, выхватил из темноты дедово задумчивое и усталое лицо.

— Обидно за отца-то? — спрашивает он и улыбается. — Ежели и ругаю, то любя. Он оступаться не должен. Ни в каких делах промашки давать ему нельзя, потому как шибко ответственный, на виду у всех. Как бугор в поле: кто ни глянет, всяк глаз в его упрет.

Данилка вспомнил, как после случая с Серком отец целый день ходил хмурый, а вечером сказал: «Почаще в душу к себе заглядывать надо и ревизию делать. А то хлам всякий набирается».

— Думаешь, легко ему? — спрашивает дед и сам же отвечает: — Не-ет, не легко державу-то кормить. Сколь хлеба-то надо! А без хлеба куды, без хлебушка никуды. Никакая держава на ногах не устоит. А отец твой над хлебом главный в нашем районе. Шибко тяжело ему, да не всяк разумеет об ентом. Я вот до Советской власти тоже чурка с глазами был, подале околицы не видел. Да и охоты не было. А теперь вот в ликбез записался, Евдокея Андреевна буквам научит, читать стану. Ето ж какое я к себе уваженье-то поимею! — Дед Савостий даже выпрямляет спину при этих словах и значительно глядит на Данилку. — Грамота, ето, как бы тебе сказать, как луна вот — все освещает. Глянь вокруг-то — видно, а ежели бы ее не было? Чего б ты увидал? А-а, вот то-то!

Савостий поднимает палец, хотя Данилка и не спорит. Данилка смотрит на огромную, сияющую серебряным блеском луну, на озеро, над которым собирается сизая дымка тумана. Он знает, что это хорошая примета, — завтра день будет ясный, для покоса пригожий. По той особо чуткой тишине, что наступает в час предутрия, по тому, как перестали пастись лошади, Данилка понял, что вот-вот наступит рассвет. И как только подумал об этом, так сразу же уснул, и во сне не сходит с его губ счастливая улыбка.

Данилка вскидывает глаза оттого, что кто-то трясет его за плечо.

— Сон-то милей отца-матери, — говорит дед, улыбаясь. — Бужу-бужу — не добужусь. Полегчало ай нет? Нога-то?

Данилка приподнимается, чувствуя тело легким и здоровым.

— Полегчало.

— Ну и слава богу. Травка — она целебная, она Богом дадена ото всех болестей.

Данилке не хочется вылезать из угретога места под старым зипуном, он медлит, он еще не совсем проснулся и готов снова упасть и уснуть зоревым сладким сном. Дед Савостий говорит:

— Чичас коней пригонят.

И тут только Данилка замечает, что ни Андрейки, ни Ромки уже нет, нет и собак. Данилке стыдно: дружки ушли за конями, а он, как барчук, лежит.

— Чо ты меня не разбудил! — недовольно говорит он.

— Дак ить хворый.

— Ничо не хворый, — сердится Данилка и решительно скидывает с себя волглый зипун.

Под утро пала сильная роса и все вокруг отсырело — поседела трава, кусты, серебристым бусом покрылась одежда. Данилка вскакивает, и туманная сырость обливает его знобким холодом. Бр-р-р! Данилка бежит в кусты по малой нужде, по босым ногам жигает студеной росой, а когда задевает куст калины и целый ушат брызг окатывает его с головы до ног, Данилка совсем просыпается. Приплясывая и оставляя в росной траве дымчатый след, бежит он к деду, натягивает опять на себя тяжелый от влаги зипун и, присев на корточки, прикрывает покрасневшие от холода босые ноги.

Дед шаркает вокруг потухшего костра, собирает пожитки. Костер совсем остыл, и отсыревший пепел осел, чадит черная головешка, будто струйку сизого тумана пускает. Резко пахнет сырою золой.

Зыбкий рассвет вступает в свои права. Сиреневый туман лежит на земле, в чуть зримой синеве расплывчато проступают серые стволы берез и темнеют кусты калины. Кусты кажутся непомерно большими, но Данилка знает, что калинник здесь низкорослый. Озера совсем не видать, оно только угадывается по особо плотному туману.

Данилка затих, чувствуя, как оседают на лицо мелкие капельки влаги, и задумчиво смотрит в сонное предутрие, слушает не слышный днем пережат ручья. Это он звенел ночью, а может, и впрямь луна, как говорит дед.

Вдруг таинственно и совершенно беззвучно возникают в тумане смутно расплывчатые огромные движущиеся тени, и Данилка вздрагивает, но тут же соображает, что это кони. Совсем рядом раздается Андрейкин голос:

— Тр-р-р! Дед Савостий!
 — Аюшки! — откликается дед. — Тута мы.
 — Коней пригнали. Ну дак ехать будем.
 — Встал, соня? — говорит над ухом Ромка и тянет из-под Данилки свой зипун.

Мальчишки, помогая друг другу, взбираются на отпотевшие конские спины.

Выехали на косогор. Еще не скоро солнце, но в воздухе уже разлит голубовато-серый свет и чувствуется, что вот-вот заалееет восток. Данилка едет последним, за дедом Савостием. Лошади фыркают, на ходу хватают высокую траву и звучно жуют. В знобком воздухе пахнет росной травой, ягодником, но все это перешибает крепкий и приятный Данилке конский пот.

Едут шагом. Коней гнать нельзя — им и так предстоит целый день работать. Кони идут подбористым и легким шагом, сдержанно позванивают удила. Данилка чувствует, как работают под ним железные мускулы жеребца, налитые молодой силой, и его охватывает любовь к этому умному и злому зверю,

послушному одному движению руки. И мальчишка чувствует себя тоже сильным и смелым и с удовольствием ощущает утреннюю свежесть.

Спускаются в туманную лошину. Сначала исчезают собаки, потом лошади будто погружаются в легкую податливую воду. И вот уже видны только их головы да всадники. Данилка качается на широкой спине Гнедка и видит, как она на глазах покрывается светлым мелким бусом, проведи пальцем — темный след останется. На лице оседает, холодит щеки влага. А за туманом встает солнце, и сквозь сиреневую кисейную пелену проступает в вышине чистое небо. Свистящим неровным полетом проносятся над головой две утки, четко видимые в голубеющей выси.

На увале брызжет в глаза солнце. Ребята останавливают лошадей. Перед ними — зеленая долина с остатками тумана, с березами, чисто и свежо белеющими неподалеку. Вилюжится, сверкает неширокая речка, голубеют на окоме дальние горы. Все светит, переливает яркими незамутненными красками раннего утра. Снизу, из деревни, доносится мычанье коров, звяканье ботал и выстрелы пастушьего бича. Все это покрывает короткий чистый и бодрый звук — кто-то отбивает косу. Звук летит далеко и ясно. Люди готовятся к покосу. И этот родной, знакомый с младенчества звук входит в душу светло и прочно, входит на всю жизнь, чтобы потом, в трудный час, припасть к нему сердцем и все выдохнуть, все преодолеть.

Много раз видел Данилка свою землю, родился на ней, избегал ее босыми резвыми ногами, но в этот утренний час она явилась ему совсем другой, новой и необычной, и что-то пронзительно-счастливое вошло в сердце, и он задохнулся от нахлынувших чувств, еще не понимая, что пробудилась в нем великая сыновья любовь к родной земле.

Такой длинный-длинный день

Вот и приспела макушка красного лета — июль! Совсем потеряли покой деревенские мальчишки, потому как в поле да в лесу накрыта скатерть-самобранка, приготовлен щедрый ягодный стол. Поплыли над землей сладкие запахи. Налилась солнцем крупная земляника, сама в лукошко просится. Слаше да душистее ягоды не сыскать. Хоть и неспоро собирать ее на пологих холмах, а под солнышком, в полдень да зной и совсем нелегко, но все равно клади по ягодке — наберешь кузовок. Вот-вот и черемуха доспеет, набрякнет черной сладостью, а там малина пойдет, смородина, кислица, костяника... Чем только не одарит теплая ласковая земля! Успевай ладошки подставлять.

Спозаранку — еще и роса не обсохла, и солнышко только глаза протерло да приподнялось, спросонок поглядывая на землю и прикидывая, вздремнуть или уж и за работу приниматься, — мальчишки шумной ватагой уходят за околицу, в степь, на волю вольную. Раным-рано под окошком у Данилки раздается переливчатый свист. Данилка, бросив пить молоко, выскакивает на крыльцо, а вслед мать окликает:

— Погоди, непутевый! — И сует ему в руки берестяной туюсок под ягоду. — Да хлебушка возьми, проголодаешься.

Вместе с горбушкой ржаного собственной выпечки хлеба дает зеленые перья лука и яичко, сваренное вкрутую. Неохотно, но берет Данилка, знает — без еды мать не отпустит.

У крыльца Ромка и Андрейка переминаются с ноги на ногу, как застоялые кони, готовые с места взять крупной рысью.

— Осторожней там! — строго наказывает мать. — Ноги не порежь да на глубину не лезь, не суйся куда попало!

— Ладно, — недовольно отмахивается Данилка.

Именно этим будет он заниматься день-деньской: лазить по деревьям, нырять в омут, бегать сломя голову по степи.

Вот отец, он понимает Данилку. Вон он дрова у сарая колет. Перестал махать топором, смотрит на сына и его дружков усмехаясь. Высокий, ладно скроенный и крепко сшитый отец поглаживает рыжеватый ус, и на лице его поблескивает пот — напластал целую поленицу. Отец завсегда так: еще солнышко не проклянется — наколует дров и уйдет в райисполком до вечерней зари или в район укатит на неделю. Редко видит его Данилка.

Мать продолжает что-то наказывать, но Данилка с дружками уже топает по улице, шлепая босыми ногами по остывшей за ночь мягкой пыли.

Село просыпается. Орут, выхвываясь друг перед дружкой, петухи, мычат коровы, блеют овцы. Хозяйки выгоняют своих буренок за ворота. Вдоль улицы неспешно, с достоинством вышагивает тетка Степанида, пастух. Она в сапогах, в тяжелом брезентовом дождевике, через плечо ременный плетеный бич — зависть всех мальчишек. Длиннющий бич змеится в повлажневшей за ночь пыли, оставляет светлую вилюжку. Степанида умеет здорово шелкать им, сбивая стадо в кучу. Как выстрелы, оглушающе раздаются удары бича в воздухе, и коровы покорно слушаются.

Густо пахнет парным молоком и свежим навозом. Над трубами сизо и прозрачно дымится, тянет горьковатым душком кизяков. Во дворах сдержанная суета. Люди собираются на покос, запрягают лошадей, покрикивают на них, позванивают литовками — их приторачивают к телегам, постукивают грабли, негромко перебраниваются мужики с бабами. Кто-то торопливо отбивает на обушке литовку, и крепкий

круглый звук весело катится по селу. Хозяева порадивее да порасторопнее уже выехали, это приподзвившиеся собираются. Надо захватить росу на траве, пока не съело ее солнце. Всяк знает: первая коса не прогадывает, урвет сенца — в каждой копешке пуд меду.

Тонко, испуганно ржет гнедой жеребенок, оставший от матки, мечется по двору. С улицы призывно откликается кобыла, останавливается. И хозяин тоже ждет, когда подбежит несмышлениш. А жеребенок уже невесомо топчет по дороге к матери, взрывая неокрепшими копытцами облачка пыли.

— Ах ты, пострел! — шуточно замахивается на стригунка вожжами хозяин. Жеребенок испуганно отпрядывает в сторону, чернородый мужик довольно смеется.

А на прясле висит и ревмя ревет замурзанный карапуз, которого не взяли на покос. Смотрит вдаль укатившей телеге, и горе его неутешно.

— Степанида, — ласково просит от калитки дробенькая старушка, — ты погляди, серебряная, за моей Нежданкой. Кабы опять яловая не осталась. Бык-то будет ай нет сѣдни?

— Сельсовет дает. Племенника. — Степанида оглушительно «стреляет» бичом. — Куда-а, куда-а!

Рыжая комолая корова норовит повернуть назад во двор, видать, вкусным поила ее хозяйка, прежде чем выгнать.

— Уж погляди, будь ласкова, — заискивается старушка. — За мной не останется, Степанидушка.

— Эй, пастух! — кричит от другого двора баба с прямыми, как у мужика, плечами. — Чой-то вчерась моя Чернушка пришла, и все соски порезаны! В осоку, чо ль, залезла?

— В осоку, — басом отвечает пастух. — Она у тебя шалая, лезет куда попадая.

— А ты-то для чего приставлена! — воинственно повышает голос баба.

Пастух резко шелкает бичом и кричит:

— Куда-а, куда-а!

Мальчишки топают за стадом, вдыхают милый сердцу запах проснувшейся жизни.

На краю села, возле своей завалюшки, ждет их дед Савостий и ватага парнишек.

— Явились, мазурики! Я думал — проспали, — встречает дружков беззубой улыбкой дед Савостий.

— Не-е, мы не проспим! — хвастается Андрейка. — Я еще со вторыми петухами просыпался. А как третьи заголосили, я — вот он! — на ногах!

— Ну, ты воструш известный. — Дед Савостий, усмехаясь, чешет кудельную сивую бородку. — Значица, пошли теперя.

За околицей дорога их со стадом разминулась. Степанида погнала коров вправо на пастбище, а мальчишки с дедом Савостием свернули влево, за увал, подались в места излюбленные, заветные, в места тайные, где ягоды насыпано — ступить негде, где

растет она рясная да сладкая. Их обогнала подвода с косцами, и бородастый, с проседью, лысый мужик, попридержав коня, кричит:

— Все с мелюзгой хороводишься? Свихнулся с ума-то!

— Жисти учу, — с достоинством отвечает дед Савостий.

— Мало тебя самого жисть учила, голодранец! — Мужик, зло огрев коня кнутом, укатывает. — Старый хрен! — донеслось из пыли.

Дед понимающе смотрит вслед мужику:

— Злобствует Авдеич. И то подумать — сколь земли отобрали! Первым богатеем был, а теперь кто? Лютость в ём кипит.

Мальчишки знают, что мужик этот — кулак. Недавно отобрали у кулаков землю, и сельские большевики строят новую жизнь, колхозы организуют, а кулаки грозят всех большевиков к ногтю свести. Разломилось село надвое. Бедные и богатые друг против друга стенкой встали.

Сразу же за деревянным мостом через речку на окраине села увидели они коршуна. Вкогтился он в большой серый камень, спокойно глядит жесткими холодными глазами на ребят. Не спеша расправив огромные крылья, тяжело и неохотно поднимается над землей. Редко взмахивая метровыми крыльями, набирает кругами высоту. И там, в поднебесной выси, тугое, отливающее коричневым глянцем тело птицы вдруг вспыхивает в лучах восходящего солнца.

— Цыплят всех потаскает, коль повадится, — озабоченно говорит дед Савостий, приложив ладошку козырьком к глазам и наблюдая за коршуном. — Стрельнуть бы его.

Мальчишки с завистью глядят на вольную сильную птицу. Эх, полететь бы! Подняться над землей и посмотреть на нее, как с самолета!

Вышла ватага из села, перевалила увал, теперь — беги, куда хочешь, смотри, куда глянется. Перед далью и высоким небом замирает сердце, восторг распирает грудь, наверно, такое чувство у летящей птицы, у коршуна вон того, что кружит в поднебесье.

Идут, свистят мальчишки, вперегонки запузывают — вольной жизнью живут. Дед Савостий употел с ними тягаться, вытирает глянцевиный лоб, легкие, как пух, волосинки на голове примокли, — а не отстает. Дед легкий на ногу, усохший, росточком с парнишку, но жилистый.

Идут мимо созревающих полей. Ячмень выстрелил длинные усы, переливает в седой дымке росы, как холодный шелк. Невдалеке белеет гречиха. Пчелы летят за взятком на цвет. Золотое поле горчицы горьковато пахнет. Тугими валами ходит порыжелая рожь, густая, как лисья шерсть, отливает на буграх металлическим тусклым блеском. Ромашки и васильки вдоль дороги в ядреной росе блестят, серебрятся. Хмурое спросонья небо в вышине подсини-

но, а в самой маковке голубизна пробивается, незамутненно чистая, холодноватая, ознобно-радостная. Подрумяненные невидимым еще солнцем легкие облака неторопко плывут над землей. Сонный воздух чист и прохладен, но не знобок — теплая ночь была, летняя. А в лощинах еще дремлют пласты сизого легкого тумана. Не успели оглянуться, как в места ягодные пришагали. Дед травами занялся, а мальчишки ягоду собирать кинулись. Наточались на поляну, где красно от земляники. Захолонуло сердце от радости. Аукаются, перекликаются:

— У меня хоть горстями гребь!

— А у меня — ух!

— Я уже тусок набрал! — врет, как всегда, Андрейка и к себе зовет. Он всегда на весь лес орет и со всеми поделиться хочет.

Ромка же молчит, втихомолку собирает, а Данилка то откликнется, то тоже промолчит. Кто попроше да поглупее — горло дерут, а кто посмекалистей — примолкли, чтоб к ним не прибежали и не отобрали ягоду.

Уж и руки красны от соку и колени промокли, а в лукошках не прибывает, потому как одну ягодку в тусок, а другую в рот. Одну — в тусок, одну — в рот, а то и две иль три.

Наконец утолили ягодный голод и уже не торопясь и деловито стали набирать в туски. Главное, чтоб доньшко закрыть. А как закроешь донце ягодой, так дело на лад пойдет.

Собирают мальчишки ягоду, а сами к свисточку деду Савостия прислушиваются. Он сидит себе на пенечке на опушке леса, свистульки ладит да по-свистывает, чтоб ребяташки далеко не разбрелись и не заблудились. Он как наседка со своим выводком.

В кустах обильная роса. Штаны мокры по колено, руки мокры, ноги заохлодели. Тонко пахнет земляникой. И приторно-сладко наносит дурнопахнущим отцветающих волчьих ягод.

С восходом солнца на мальчишек накинута комары. Андрейка выскочил из кустов, яростно чешется: «У-у, гады, съели совсем!» Рыжая голова его блестит на солнце, как медный начищенный котелок. Увидев тусок Данилки, дивится.

— Столь набрал! — с гордостью отвечает Данилка.

Андрейка хлопает себя по лбу и, не убив комара, опять ринулся в мокрые кусты, к пням, за большой и мягкой земляникой. На полянах, на солнцепеке, земляника помельче и поподжаристей, а у пней, в густой высокой траве — ядренее, бледнее и мягче.

Ромка, приметив, что дружки у пней обитают, ломится в кусты. Там хоть и мокро, а собирать интересней. Пень обошел — горсть набрал. Сверху её и не видно в траве, а присядешь — сразу несколько штук в глаза лезут. Вот и вот, и вон еще две под листочком. В росной траве так и светятся малиновые огоньки.

Оглянешься — ба-а-тюшки-светы! Да сколь ее тут! На жилу натокались — теперь брать не перебрать.

Веселое солнышко играючи выкатило из-за леса, набрало полную силу, припекать стало. Даль сиреневая, с фиолетовым отливом, подернулась дымкой — туман опадает. Будет ведро. Птицы поют, день славят. Что-то не поладили с утра воробьи — гам, переполох в кустах. А комары совсем осатанели, лезут в нос, в уши, в рот и жгут нестерпимо. Мальчишки только успевают отмахиваться да ойкать. Андрейка, который меньше брал ягоду, а больше бегал от пацана к пацану, чтобы удостовериться, у кого сколько в туеске, забывшись, шарахнул лукошком с ягодой себе по плечу, все рассыпал, а комара не убил. Чуть не ревет с досады, выскивает просыпанную землянику в густой траве.

Ромка яростно отмахивается от комаров, а сам хохочет над Андрейкой. Тот в драку кинулся. Сцепились, волтузят друг дружку. Данилка еле разнял. Андрейка ревет и все пытается кинуться на Ромку — шибко обидно ему, что весь труд пропал, всю ягоду растерял: в драке и пововсе лукошко опрокинули. Сжалились дружки над ним, отсыпали из своих туесков, утешился Андрейка, сопит. Ромка опять в кустах исчез, спешит первым набрать туесок. Он во всем хочет быть первым, этот бес Ромка. Белая голова только мелькает в кустах.

А Данилка бросил собирать ягоду, присел на корточках и наблюдает жизнь в траве. Чего тут только нет! Едва пошевелится, как серо-зеленым дождем сыплются кузнечики, звонкий стрекот стоит кругом. Прямо перед собой видит Данилка большого зеленого кузнечика, потянулся к нему рукой, хочет схватить. Кузнечик стрекотал самозабвенно, но вдруг смолк и, оттолкнувшись длинными ногами, делает прыжок перед носом Данилки. Исчезает в траве, будто и не было его вовсе. Данилка прислушивается, и кажется ему, что в траве таинственно шепчутся кузнечики, затаились и ждут, когда он уйдет.

А вот пчела ползет по цветку, деловито гудит, срывается и тяжело перелетает на другой цветок. А вон бабочка пролетела, а вот жук копошится. Данилка вдруг обнаруживает под ногами муравьиный тропу. По ней деловито встречь друг дружке снуют муравьи. И кто что тащит: кто былинку вдсятеро больше себя, кто хвоинку, кто дохлую муху. Данилка помогает им прутиком.

Забыл про ягоду Данилка, смотрит в траву, наблюдает за жизнью муравьев, жуков, кузнечиков и мотыльков. Как они тут не заблудятся? Ведь эта высокая трава для них лес дремучий, непроходимый.

— Муравьи народ умный, — раздается вдруг над головой.

Возле Данилки стоит дед Савостий, в руках его пучки трав и цветы.

— Поди, и мы сверху-то муравьями кажемся, — говорит дед. — Тоже суетимся, друг дружке горло грызем, он, Бог-то, смотрит на нас, дивуется.

— Бога нету, — заявляет Данилка. — Папка говорит, никакого Бога нету.

— Для тебя с отцом, знамо дело, нету, а для меня есть.

Данилка насупился, молчит. Он точно знает, что никакого Бога нет, раз папка сказал — нету, значит — нету.

— Кто вот эту красоту придумал? — Дед широким жестом обводит вокруг. Данилка не знает, кто все это придумал. — А-а, вот то-то! Тут как голову надо иметь на плечах! Шибко умную, чтоб все это придумать.

— Данилка! — доносится крик Ромки. — Иди сюда!

Дед Савостий и Данилка идут на зов. Дед говорит: — Жисть смотреть шибко антересно, завлекательней жисти на земле ничего нету.

На опушке кружком сидят мальчишки, хвастают — кто больше набрал. Данилке нечем погордиться. Мальчишки потихоньку потягивают ягоду из своих туесков.

— Я горстями могу ись! — кричит Андрейка. — Ведро зараз могу съись.

— Лопнешь, — сомневается губатый Ромка.

— Спорим! — орет Андрейка и чуть в драку не лезет. — Давай — и твой, и свой туесок съем.

Он всегда так: орет, рукава засучать начинает.

Спорить никто с ним не хочет. Андрейка и кадушку слопаёт, не моргнет, и животом маяться не будет. Живот у него железные гвозди переварит.

Смекнув, что надуть никого не удастся, Андрейка принимается за свой туесок.

— А я все съись могу, и мамка мне не указ, — хвастает он и с отчаянной бедовостью запускает руку в ягоду, горстью ссыпает ее в рот, с преувеличенным наслаждением жуёт. Пацаны наваливаются на ягоду. У Данилки собирается слюна во рту, и он тоже запускает руку в туесок, утешая себя мыслью, что в туеске не убудет, и он еще доберет доверху. Какое еще время! Во-он солнышко-то где, над маковкой. До вечера целый день еще.

Едят горстями мальчишки, будто воду пьют, и всяк свою ягоду нахваливает. Забывают рот пахучей сладостью, дают ягоду языком, сок так и брызжет в небо, похрустывают недозревшей, ощущая зеленый привкус. Земляника рдяная, плотная, весома, с россыпью мелких желтых семян, облепивших поверхность ягоды, и ворсинки короткие и тоненькие на них торчат. В лукошках быстро убывает. Вот и донышко показалось. Мальчишки — эх, была не была! — доедают остатки. Наелись, пить захотели.

Жар полдневный раскалился. Зной томит. В укромном месте позванивает ключик. Трава вокруг

влажная, ярко-зеленая, солнцем не обожженная. Дед Савостий пьет из ладоней, зачерпывая светлую струю. Мальчишки кто ртом хватает, кто через дудку тянет.

— Скусней водицы этой нету на свете, — улыбается дед. — Скусней всяких напитков-наедков сладких.

Пьет он долго, с наслаждением, крикает, утирает усы и бороду и опять пьет. Глаза его радостно светятся. Он озирает добрым взглядом мальчишек, окоем, струящийся знойным маревом, поспевающие поля, и лицо его светло и благостно. Мальчишки пьют до ломоты в зубах. А потом разваливаются в тенечке под калиной.

Высоко-высоко в небе, возле самого солнышка, заливается жаворонок. Струится марево над степью, далеко на окоеме висят прозрачные голубые горы. Данилка там не бывал ни разу.

Отец все обещает взять с собой: как только разделяется с колхозами, так поедут в горы. Данилка с нетерпением ждет того дня, но отец занят работой и никак не может выкроить время на поездку.

По дороге вяло тянется подвода. На телеге, побабьи вытянув ноги вперед и закутав от жары голову платком, сидит девчонка. Опрокинувшись навзничь, спит старик. За телегой, будто привязанная, у заднего колеса бредет собака. Мальчишки провожают глазами телегу и завидуют: едут куда-то люди! Далеко куда-то, может быть, за моря-океаны, в счастливые страны! Что там, за синь-морями? Свет велик и удивителен! Вот бы посмотреть все!

— Эй, дед, чеку потерял! — кричит вдруг Ромка.

Старик вскидывается, ошалело глядит на колесо. Мальчишки хохочут. Дед грозит кнутом:

— Арстанты, язви вас!

Хлестнул лошадь, укатил.

Неожиданно раздается заполошный птичий гвалт. На опушке леса появляется слепо летящая сова, а за ней стая воробьев, синиц и еще каких-то разъяренных пичужек.

Сова незряче налетает на сучья, шарахается в сторону, бьется о стволы, наконец судорожно цепляется за ветку. Хлопая огромными желтыми лещачьими глазами, вертит головой.

— Бей ее! — орет Ромка и швыряет в сову палкой.

— Бей! — азартно подхватывают мальчишки.

— Стойте, мазурики! — прикрикивает дед Савостий. — За что бить-то! Что она вам изделала?

Мальчишки не знают, что им сделала сова.

— Вот то-то! — укоризненно говорит дед. — Содом подняли, а чего и зачем — не знаете.

Дед Савостий кивает на колготящихся птиц.

— Они сами разберутся. Это ихняя свара.

Воробьи да синицы тем временем загнали сову обратно в лес, и шум стих.

— Она птенцов из гнезд таскает! — упрямится Ромка.

— Она больше мышей-полевок жрет, — поясняет дед. — Значица, человеку помогает, потому как мыши весь урожай свести могут, ежели расплодятся. А ежели она каких пташек ловит, то, значица, землю от заразы очищает. Выходит, опять человеку помогает. Господь Бог, он каждой твари свое предназначение дал. А как же! Все продумал, все рассчитал. А человек, он сдуру-то полезную тварь сгубить может.

Сидит дед на пенечке, рассказывает мальчишкам, как на земле все разумно, все одной цепочкой связано, потому думать надо, прежде чем замахиваться хоть на сову, хоть на муравья, хоть на волка или на червяка распоследнего. Внимают мальчишки дедовой науке, откладываются рядком в голове его слова, и уже другим глазом смотрят на землю, на живность разную ее.

— Куда-а, куда-а! — вдруг слышат мальчишки и видят, как Степанида бежит за коровами, а стадо чешет врассыпную, с ревом, задрав хвосты.

Завыкивали коровы. В полдень, в изнурительную жару, стервенеют большие серые оводы, донимают и скот, и людей. Бегут коровы от злых укусов, забиваются в чащу, в прохладу, вламываются в кустарник — и тогда не выгнать их оттуда.

Мык, рев, крик стоит в воздухе.

— Куда-а, куда-а! — истошно кричит Степанида и, бухая сапожищами, стреляет бичом.

— Перерезай, перерезай! — дает команду дед и трусцой бросается наперерез стаду.

Мальчишки рады стараться. Выломив наспех хворостины, с гиканьем устремляются на помощь пастуху.

Всем миром еле сбивают разбежавшееся стадо в гурт, и Степанида гонит его к речке на водопой. Коровы забредают по брюхо в воду, стоят, вздрагиваят шкурой, бьют хвостами, едва слышат: «Вз-з-з! Вз-з-з!» И уже готовы ринуться из речки и нестись сломя голову по жаркой степи.

Мальчишки крутят головами, ищут: где же оводы? И вдруг обнаруживают, что это Андрейка гудит, здорово поддельвается под овода.

— Ах ты, варнак! — кричит Степанида. — Вот я тебя бичом, каторжанец!

Степанида разошлась не на шутку. И впрямь собирается вытянуть Андрейку бичом. Андрейка струхнул, прячется за спины дружков.

— Веди банду отсель! — приказывает Степанида деду Савостию. — Обормоты!

Подались ребята купаться. На озеро, где вода синяя да холодная, где растут белые лилии и желтые кувшинки. Идут мимо покосов. Жарко струится над землей горячий воздух. Небо белесое, выгорело на жгучем солнце. Зной давит степь. Нечем дышать.

Косари обливаются потом. Лица обгорели, спины коричневые, блестят, будто гусиным салом смазаны. Стрекочет сенокосилка, звенят литовки, докашива-

ют люди прогон. Сено сохнет на глазах и пахнет горячим медом. Тяжка работа в зной. Тяжел сенокос.

А на озере тишина и прохлада. Мальчишки с разгону вломились в воду, подняли брызги, вопят от радости, гоняются друг за дружкой. Несказанное блаженство — в зной ухнуть в прохладную воду, почувствовать, как остывает тело, нырнуть в глубину и плыть, раскрыв глаза, в голубоватой размытой мглности! Плывет, плывет Данилка, будто в сказке какой. Диво дивное предстает пред глазами — таинственный и жутковатый подводный мир. Гибко колышутся длинные коричневые стебли лилий и кувшинок, густым частоколом стоит зеленый камыш, мягко стелется по дну какой-то бархатистый подвижный мох. И чудится Данилке, что вот сейчас появятся из подводной чаши русалки, и пугливо холодеет сердце. Распустят косы русалки и хоровод затеют, как в песне, где говорится про стрекоз, про добра молодца, которого взяли русалки к себе в подводные чертоги и не отдают невесте. Плывет Данилка под водой, пока не сопреет в груди. Выскочит в жаркий звонкий мир, отдышится, наберет воздуха и опять уйдет в сказочное царство, в таинственную голубую глухоту. Вот бы рыбой стать, щукой, к примеру, или налимом! Гуляй себе по озерам да рекам!

Мотают длинными пегими бородами водоросли, будто лешаки подводные. Блескучие пузырьки летят стайкой вверх, пугают. Кажется — дышит кто-то в немой чаще, затаился, высматривает, когда Данилка спиной повернется, чтобы схватить его за ноги, уволочь с собою. Обмирает сердце от такой мысли, и Данилка стремглав бросается наверх, на волю, к ребятам. А самому все кажется, что вот-вот кто-то схватит его за ноги. Данилка выныривает в знакомый шумный мир мальчишек. Они колотят руками по воде, в «салки» играют.

Только успел отдышаться Данилка, как заблажил во все свое луженое горло Андрейка. Перепугал всех до смерти. Повыскакивали мальчишки на берег.

— Чой-то ты? — испуганным шепотом спрашивает дед Савостий.

— Лешак за ноги схватил. — Андрейка тарашит глаза, едва переводит дух.

Мальчишки с опаской смотрят на тихую воду. Данилка тоже. Знать, и впрямь кто-то водится тут!

— Поди, лилии ноги-то опутали? — предполагает дед Савостий.

— Вниз тянут. — Андрейка все еще не может отдышаться. — Склзкие.

— Значица, лилии, — совсем уверовался дед. — А ты блажишь.

Мальчишки хохочут, у них отлегло от сердца. Ромка кричит:

— Сам ты лешак!

И ухает с разгону в воду. Плывет за лилиями. Бес Ромка не хочет показать, что он тоже трухнул, когда

завопил Андрейка. И теперь плывет, храбрость выказывает, он везде первым хочет быть. Мальчишки смотрят, ждут — случится что с Ромкой или нет. Нет, ничего с бесом Ромкой не случилось. Нарвал лилий целую охапку, вытащил на берег, победно оглядел всех. Нежным сырым запахом потянуло от лилий. Обрывает Ромка белые, будто восковые лепестки, выковыривает из середки цветка мучную мякоть, блаженно прижмурив глаза, лопает.

— Скусно!

Данилка тоже пробует. Мучная мякоть под желтой сердцевинкой пахнет сыростью и медовым ароматом.

— Мамка седни шанежки пекла, — произносит Андрейка. — Надобно было полную запазушку набрать.

Ребятишки давно уже смолотили запасы, которые им насильно сунули дома, и теперь жалкуют, что не взяли побольше. Дед макает горбушку в родник, шамкает беззубыми деснами, улыбается, потчует ребятешек чем богат. Но разве на всех хватит! И его запасы быстро истаяли.

— Я как вырасту, так одни пряники ись буду, — заявляет мечтательно Андрейка.

— Это кем же ты станешь, чтоб каждый день пряники ись? — спрашивает дед Савостий.

— Сельпом заведовать стану. Конфетки и пряники всегда под рукой.

— Ишь ты! — дивится дед. — Кумекаешь, где теплее. А ты, Ромка, тоже в продавцы пойдешь?

— Я летчиком буду. На ероплане летать стану.

— Гм, — хмыкает дед. — А ты, Данилка, тоже, поди, в летчики стремишься или в учителя?

— Не-е, я трактористом хочу.

— Во! — одобрительно кивает дед. — Ето дело знатное. А то все в летчики да приказчики подадутся, кто же землю пахать станет, хлеб растить! Без хлебушка и летчик на ероплане не взлетит, и приказчику пряников не будет.

Данилка помирает по трактору. Когда по селу катит трактор, Данилка бежит за ним до самой околицы, вдыхая запах отработанного горючего, любитесь на чумазого тракториста с большими защитными очками на фуражке. А когда удается прокатиться на тряском крыле большого, с шипами, заднего колеса — то Данилка бывает на седьмом небе. Он хочет носить такие же большие очки на фуражке, и чтоб от него так же пахло мазутом, и чтоб лицо было в пыли и в масляном налете, и чтоб зубы сверкали, как у тракториста. Все пацаны будут бегать за ним, когда он по селу на полном газу протарахтит.

Уж он бы всех мальчишек катал, не жалко.

— Кудай-то они! — слышит Данилка тревожный голос деда Савостия.

По дороге вдали пылит отряд конников. Идут крупной рысью.

— Никак, опять чего стряслось! — Дед приложил руку козырьком к глазам и пытается разглядеть людей. — Ну-ка, мазурики, у вас глаза вострые. Наши это ай нет?

Ромка говорит:

— Наши! Вон начальник милиции! А впереди Данилкин отец.

Данилка уже и сам видит, что впереди отряда скачет его отец.

— Куда-то они? — снова спрашивает дед, и на лице его тревога.

Тревожно в этом солнечном мире. По ночам стреляют. По ночам же раздается приглушенный плач и скрипят колеса — увозят на подводах куда-то раскулаченных. По ночам горят амбары с хлебом. Отец Данилки, как заезженный конь, опал боками. Как ночь, так на выселку кулаков идет. Мать не смыкает глаз до утра, все ждет отца, боится, как бы беды не стряслось. Вздрагивает от каждого стука на улице, от каждого шороха. Ходит от окна к окну, вглядывается в ночную темь.

— Никак, опять кулаки бунтуют? — с беспокойством смотрит дед на удаляющихся конников.

Мальчишки знают: недавно было кулацкое восстание в соседнем селе. В ту ночь все большевики, комсомольцы и милиционеры спешно ускакали туда. Два дня не был дома Данилкин отец, а когда вернулся, обросший рыжеватой щетиной, с провалившимися глазами и с перебинтованной головой, сказал: «Теперь ухо остро держи! Того гляди, опять польхнет». Ускакал отряд конников, мальчишки спорят — куда ускакал. Кто говорит — в Катунское село, кто — в Солонешное. Дед молчит, хмурится. А над степью по-прежнему беззаботно заливаются жаворонки да кружит коршун, высматривая добычу.

Мальчишки собирают ягоду, аukaются, спешат наполнить туески, чтобы домой явиться с гостинцем. Данилке еще и нечаянная грибная радость подвалила. Набрел он на маслят. Круговинкой оцепили они солнечную полянку, блестят в траве масляными коричневыми шляпками. И не червивые. Данилка быстренько их в туесок. И тут же вдоль тропинки на россыпь лисичек напал. Крепенькие, желтые, прятались они в листочках да былинках. Данилка и их к маслятам отправил. И уж совсем повезло — наткнулся на подберезовик. Стоял он, лихо сдвинув набок широкую шляпку.

— Везучий ты, — сказал дед Савостий, когда Данилка похвастался добычей. — В этом месте грибовто мало бывает. За ними дальше идтить надо, за Козье болото. Там их попозднее невпроворот будет.

Подумал, поправился:

— Поди, и не будет нынешний год. Засушливый год-то. За все лето и трех дождей не перепало. Сена вон тоже плохие. Кабы на зиму без корму не остаться.

И опять купались мальчишки, опять собирали ягоду, и к вечеру, протопав несколько верст, усталые,

пришли на увал перед селом своим. Был тот предвечерний час, когда затихает земля. Уже притушилось солнце, уже потянуло первой прохладой от речки, уже смолкают одна за одной птицы и летят к гнездам; перестал кружить над степью коршун, улетел куда-то ночевать, устали лошади на работе, приморились люди на полях. Затихают умиротворенные поля, не колыхнет листок, не шевельнется травинка, ни ветерка, ни вдоха — тишь предвечерняя. Лиловые теплые холмы полнятся задумчивостью и покоем. Окоемные дали заволакивает дымкой степного заката, размываются, исчезают с глаз дальние горы.

Мальчишки притомились за день-деньской, сидят теперь на увале, смотрят на свое село. Большое, привольно раскинулось оно по берегам неширокой речушки, расплзлось засаженными разной овощью огородами. С одного края окольцевал село невысокий увал, на котором сидят сейчас мальчишки, с другой стороны — светлый молодой березник, с третьей — озеро подступило, а с последней — степь необъятная. Туда, в степь, почуввав свободу, и потянулись избы, толкутся вдоль речки, извиристо уходящей в дальние просторы.

Отсюда, с увала, хорошо видать окрест, и село как на ладони, в любой двор заглядывая, в любой огород смотри, где большие желтые звезды тыквы да сиреневой блеклой россыпью цветет картошка.

— Васятка! — доносится женский голос. — Сын-ок, иди ужинать.

Сын — ни гугу.

— Кому говорю! — теряет терпение мать.

Мальчишка — ни мур-мур.

— Васька, вот я тебе! Приди токо, я тебя прутом поглажу, окаянный!

Васька, наверно, вон с теми пацанами в лапту играет. Может, и слышит мать, да идти не хочет от развеселой компании. А подзатыльник он всегда успеет получить, так что не к спеху.

А вон мальчишки уже погнали в ночное лошадей. Несутся с гиканьем, с криком. Ухари-наездники. Красота! Всю ночь у костра сидеть будут, страшные сказки рассказывать.

Данилка завидует им, думает о том, что поскорей бы подрасти, чтобы тоже гонять в ночное лошадей.

С увала стадо спускается, растекается по дворам, усыхает, как речка в жару. Степанида шествует спокойно — теперь коровы никуда не побегут, разгоняй нарочно — не разгонишь. Мычат буренки, оповещают хозяек, что пришли с молоком, чтобы сольцы им дали полакомиться да пошла густого за заслуги. Позванивают боталами на шее. Перекликаются хозяйки у ворот, заывают ласково своих кормилиц, звякают подоюниками, спешат доить. Блеют овцы, где-то осатанело лает собака, ругается мужик на лошадь.

Дед Савостий курит, глядит на родное село. Он сейчас тоже тих, умиротворен и благоден.

— Вот и день прошел, — с грустинкой вздыхает он своим мыслям. — Слава богу, хороший. Завтра за Козье болото пойдем, грибов поглядим. Пойдете ай нет?

Оглядывает притаившихся мальчишек.

— Пойдем! — хором отвечают пацаны.

Завтра ни свет ни заря опять зальются они в степь, на волю вольную.

Во дворе Данилку встречает густой сиропный запах земляники. Мать варит варенье. На кирпичной времянке стоит начищенный медный тазик, полный отборной земляники. Оказывается, мать сама ходила с соседками по ягоду и принесла ведро.

— Ешь, потом помогать будешь, — говорит мать.

Данилка садится за стол, врытый во дворе на лето. Мать насыпает белую глубокую тарелку земляники и заливает ее холодным, из погреба, молоком. Ягода сначала притонула, а потом всплыла и краснеет в молоке, пуская по нему подсиненные разводы и соря мелкими желтыми семенами.

Ах, и вкусна же эта еда со свежей горбушкой хлеба! Целый день ел ягоду Данилка, но сейчас опять уплетает из тарелки, а сам взахлеб рассказывает, где был и что видел. Мать слушает вполуха, хлопчет — и варенье варит, и муку просеивает через сито, чтобы поставить опару на завтра, на пироги с луком и яйцами. Утречком Данилка наестся их, парочку за пазуху спрячет и запузырит с друзьями в степь, в раздолье.

Нахлебался Данилка молока с ягодой, в животе потяжелело.

— Теперь перебирай, — говорит мать и сыплет на стол ягоду из ведра. — Позеленее ешь, а хорошие в миску бросай, на варенье.

Перебирает Данилка, а самого в сон клонит, и, как нарочно, спелые ягоды в рот попадают, а зеленые в миску.

— Не наелся, что ль, за день-то! — сердится мать.

— Да они все такие, — пытается отбояриться Данилка, будто он не виноват, что в миске не красно, а буро.

— А то я не знаю, какие собирала! — повышает голос мать. — Давай снова перебирай!

— Мам, пенок дашь?

— Работай, работай, пенки потом. Ишь, пенок ему!

Данилке кружит голову густо-сладкий запах варенья, а может, сон туманит. Перебирает Данилка ягоду и видит, как в тазике на времянке вспухают розовые воздушные пенки. Все больше и больше их, растут как на дрожжах. Данилка радуется, он страсть как любит пенки. Объеденье!

Слипаются веки, будто медом намазаны. Данилка еще видит, как плавает в остатках молока в тарелке лесной паучок, карабкается по гладкой поверхности и опять срывается. Данилка успевает подумать о том, что надо вытащить паучка, но тут же летит в яму, и сладкая истома охватывает его.

Сморил. Заснул прямо за столом.

Во сне видит он земляничную поляну. Пахнет ягодой и медом. Пенки уже поспели, мать наснимала их целую тарелку, но Данилка спит. И снится ему степное раздолье, рдяная земляника и теплая трава.

Александр Пешков

(р. 1959)

Привал

1

Вышли, точнее, прыгнули в снег на глухом полустанке.

Медленно тронулась электричка. Плывущие в окнах лица пассажиров смотрели на туристов с вялым любопытством. Стук колес ушел в тайгу, просеиваясь сквозь густые пихты.

Последнее, что запомнилось из привычной жизни — гравий под рельсами — похож на гречневую крупу, что уютно лежала сейчас в кухонном шкафу.

Я стяхнул снег и запоздалое чувство благоразумия: куда иду? Зачем?.. Туристы спешно надевали рюкзаки. Проводник отыскал тропинку среди зарослей талины.

Середина ноября. В воздухе неурочная весна. Теплынь обняла нас за плечи и повела вглубь тайги!

Березовые чешуйки — словно веснушки — усеяли припухшие снегом поляны. Ветерок сдувал рыжие семена в глубокую тропку, покрывая наши следы. Сияло небо, сверкал снег, но мне хотелось метели и мороза. Чтобы оторваться наконец от мягкого вагона, из окон которого таким легким и приятным представлялся наш маршрут!..

Чем ниже спускались мы, тем более рыхлым и липким становился снег: он цеплялся к ботинкам, оставляя на них мокрые пятна. Желтая студенистая вода выступала на дне следов, а если провалишься глубже — то и глинистая жижа.

Где-то близко слышался затаенный шум воды: упорные струи точили невидимую преграду.

Берега ручья заметны по сугробам. Местами они обваливались — тучными оползнями, — обнажая под собой стеклянный блеск бирюзовой травы и болотисто-родниковую топь меж кочек. Тихие открытые заводи подернул шершавый ледок с голубыми прожилками. Рваные края промоин обметало прозрачно-пузырчатыми кружевами. Если подойти ближе и заглянуть в глубину полыньи — сплетенные прутья и узкие листья ивы были похожи на забытый садок, в который набилась стая сербристых рыб.

Гибкие листочки вымывались и уносились ручьем вглубь распадка. А перед нами открылась широкая просека с накатанной дорогой. Тайга распахнула душу!

Однако идти по дороге оказалось трудней, чем по тропе: нужно подстраиваться под общий шаг группы. Первая заповедь в походе: настрой дыхания. Это то же, что и молитва про себя — повтор безотчетных слов, равняющих пульс. Не знаешь молитв — под- скажет дорога. Особенно в тех местах, где хотелось остановиться и замереть.

Прислонившись к безвестной березке, я писал карандашом в блокноте. Потом догнал туристов с чувством, что не дождался чего-то большего.

2

С запада небо затягивала легкая дымка.

И лишь с восточной стороны глаз режет чистой- шеее разделение синего неба и белоснежной горной гряды, будто они — полосы на флаге!

На фоне «реющего флага» возвышались заинде- вельные березы, чуть кольшась широкими боярскими рукавами. Они светились изнутри лучами солнца, уточняя и без того дородные кроны.

Звон и перелет синиц осыпали с белых ветвей пу- шистые струйки инея. В теплом густом воздухе мель- кали игольчатые снежные искры.

Мы идем быстро: ноябрьский день короток.

Голоса наши бодры, но отрывисты.

Белая пелена все больше накрывала небо, снег у подножия берез становился голубее. Возникло странное впечатление: разомлевшие тени на снегу виделись мне, как вершины деревьев, а уходящие в небо толстые ветви — будто бы их сиреневые корни. Такой вот перевертыш.

Вдруг я спохватился: кажется, оставил дома лож- ку... Любимую походную! С ней ходил в горы много лет. Мучительно припоминаю, как собирал рюкзак утром, как в последний момент закипел чайник — нужно было залить термос. Кажется, не дошел я до ложки... Забытая вещь — в походе самая нужная!

Конечно, в зимовье найдется лишняя ложка. Но у меня особая — деревянная, с зазубринами, потемнев- шая от времени и горячего бульона. Эту ложку любили повара на стоянках: мяли ею тушенку в котелке и про- бовали по многу раз готовность каши. Прележав неде- лями в глубине ящика для посуды, она оставляла в себе запах сухого пайка. Так что, на крайний случай, суп из этой ложки был бы вкуснее, чем из солдатского топора.

3

Впереди шуршал проводник. Новыми зелеными штанами! Надел их в вагоне перед посадкой и, види- мо, задом наперед. Временами проводник совал ру- ку к пояснице и незаметно, как ему казалось, подтя-

гивал резинку. А по лицам туристов ползли улыбки, как подтаявший снег на рюкзаках.

Дорога шла на подъем. По обочинам высились снежные наметы. Длинные рыжие лучи переползали через сугробы и ложились нам под ноги, сбивая с ша- га. Слепило ласковое солнце. Прикроешь глаза, и тайга расплывается радужным блеском сквозь влаж- ные ресницы!

Вот мы свернули в темный провал меж высоких осин. Золотисто-лакированный сумрак окутал брон- зовые стволы. Яркий свет мгновенно исчез — рассы- пался на неясные проблески меж заснеженных вет- вей. И лишь временами пробивался к нам мутно- оранжевыми лучами.

Чем короче становились лучи, тем отчетливее превращались они в терпимое глазами пламя. Слов- но язык большой свечи. Во время движения стволы заслоняли этот огонь: тогда виден был свечной оре- ол — волнисто-алая рябь меж темных ветвей.

Походная привычка: запомнить изначальное со- стояние духа. И хранить, чтобы вспомнить в нужный момент. А он настанет, когда придем в избу, и в хо- лодном сумраке затеплится изломанная свечка, что лежит сейчас в рюкзаке. И кажется сейчас, что дол- гое время похода — до ночлега — пройдет незаметно от одной свечи до другой. Даже легче станет идти!

Образ свечи вызвал мысли о привале. Не вове- мя. Я слышу бодрый голос проводника: впереди — крутой подъем!

Одно радовало — вершину опаляло еще дневное солнце! И мы полезем вверх, чтобы остановить угаса- ние дня. Склон заляпан яркими пятнами, точнее — сверкающими вмятинами от просевшего снега.

На каменистых уступах блестели полосы льда от недавних дождей. Парил на солнце серый валежник, темнели снизу влажные подтеки. Тяжело покачива- лись широкие лапы пихт, под ними не было снега, нетронутой оставалась густая зеленая трава, и пахло мореными шишками. У толстых веток под мышками кольхался седой мох.

Чтобы легче было идти, хватаюсь руками за гиб- кий кустарник, ощущая острый запах смородины. Черной! Веточки светло-коричневые, вертлявые, с розоватыми почками на концах. Смородиновый дух поднимается вместе с нами. Туристы переговарива- лись по цепочке, мол, хорошо бы сделать привал в таком душистом месте. Но выше смородина пошла уже сплошь красная — без запаха.

Подъем оказался затяжным.

Мы почти не останавливались, лишь иногда пе- реводили дыхание на каменных выступах, согнув- шись в поклоне, чтобы сдвинуть с плеч лямки рюк- зака, и уперев горячие ладони в свои колени.

Первый привал!

Туристы уселись на теплые рюкзаки, нагретые спинами. Достали термосы и бутерброды. Горы об-

ступили нас гораздо выше, чем до подъема. И казались уже более неприветливыми.

Проводник капнул чай на новые штаны.

— Сейчас свалим в распадок и поднимемся по кромке гребня... Тут бы не упасть в соседний ручей!

Ему ответил второй наш инструктор, он был без шапки, с перламутровой сединой в густых волосах:

— Там должен быть черный утес. Мимо бы не прохлестнуть!..

— Да светло еще!

— Снегом-то припорошило, — пугал седой. — Можем и не узнать то место!

В походе человек должен быть прост в понимании: чего от него ждать в трудный момент. Выносливость — второе. Важнее настрой духа. Мне показалось, что проводники не ищут легкого пути. Они вспоминали подробности прошлых маршрутов и, главное, не хотели повторения! Туристы это почувствовали:

— А когда в избу-то придем?

— В лучшем случае, — задумался проводник в зеленых штанах, — к ночи!

— А в худшем? — спрашиваю я.

— К утру, — ответил седой романтик. Говорят, что он большой любитель плутать при луне.

От этих слов разыгрался аппетит. Мы пьем чай и тянем время. Потому что знаем: до избы много дорог — и длиннее, и короче.

Не торопиться нам советует даже вода в ручье, она весело журчит перед снежным затором. Нырять под тонкий ледок и разливаясь в большую лужу. Зеленовато-коричневый слой опавших листьев покоится на дне, будто старая чайная заварка. От воды идет терпкий запах бадана. Тайга кажется еще такой милой и почти домашней.

Проводники тихо переговаривались, минуя туристов. А мы запоминаем их отдельные слова: тот хребет, наверно, заметен. Большая грива будет непролазна! Эта коварная гривка не поддастся, но хуже спуститься по скалистой гребенке! Они хитрят, конечно, а мы улавливаем неуверенность в их голосах.

Самое тяжелое в походе — груз в душе. Поэтому в начале пути все хотят быть веселыми и бодрыми. Я тоже смеялся, наверно, над собой, скрывая в душе тревогу: пошел — терпи!

4

Звучит команда: «Под рюкзак».

Мы штурмуем новый склон. Первое время я пытался осмыслить каждый встречный выступ, каждый изгиб тропы вокруг топи, каждый обход упавшего дерева. Но вскоре уперся взглядом в землю — так было легче удерживать дыхание.

Идем друг за другом — след в след, а снег становится все глубже. В глазах рябит от заячьих следов,

от голубых четырехстопных узоров, пересекающих поляны вдоль и поперек.

Вначале поднимались серпантинном, выбирая дорогу длиннее, но легче. Но теперь ломимся круто в лоб, цепляясь руками за ветви поваленных пихт, обросших замшелой куделью. Иногда корявые ветви ломались, отбрасывая нас назад.

Я уже запыхался, непослушные ноги проваливались и застревали меж стволов. И каждый раз возникал брезгливый страх, будто залез носком в чью-то нору. Чувствовал мягкие листья и то, что ботинок кто-то обнюхивает... Но потом страхи отбросил, как ненужную трату сил. И даже приноровился к ходьбе по бурелому: пока выдергиваешь ногу из снега — зацепив руками под коленку, — ловишь время для отдыха.

— Сейчас поднимемся — и привал! — кричит проводник.

Оцениваю: сколько еще метров до вершины. И не та ли это гребенка, которая может оказаться коварным гребнем!.. Снег скрипит звонче. Я чувствую мокрой спиной, что ближе к вершине становится холоднее. Вот наконец-то сбросили рюкзаки, уселись на их влажные спины. Вытянули ноги, равнодушно оглядывая мокрые ботинки с ледяной кромкой по бортам. Похоже, что носки остаются сухими только на пятках...

Сердце успокаивается и уже стучит ровно по всему телу. Это ощущение даже в пальцах, когда берешь кружку с чаем. Пар уже слабый: губы слизывают теплую росу по железному краю. Недовольно пыхтит из-под колпачка бродяга-термос, будто пеняет на мою опрометчивость.

Перекусив, туристы повеселели и огляделись. Вокруг нас царство осин, пронизанное длинными закатными лучами. Верхушки стройных гигантов окрашены в золотисто-салатный цвет. Снизу стволы одеты в шерстяные гетры из коричневого мха, с желтыми и розовыми узорами из тряпичного лишайника.

Ветви осин переплелись в сплошную темную сеть. И лишь кое-где виднелись прорехи меж корявых черных сучьев. В них поблескивало, словно пойманное, мутное предвечернее небо.

А еще я чувствовал родной запах холодной бани — старого осинового полка, подсохшего снаружи и отсыревшего в дуплах.

5

Теперь мы идем по ровной вершине, снега здесь больше, и он влажнее. Чтобы не мочить напрасно ботинки, петляем по мягким приствольным кочкам. Временами нам встречались невероятно густые заросли осинового молодняка. Продирались в нем, будто муравьи по мебельной щетке!

А солнце тем временем мазало стволы деревьев уже ниже середины.

Мутно-оранжевый изломанный диск пламенел все ярче, распалаясь от натуги, будто хотел вырваться из силков негорючих веток. Вечерние лучи светили из-за наших спин, посылая вперед рюкзачные тени. Бледно-золотистые полосы далеко опережали нас по тропе, словно знали, что угаснут раньше, чем туристы дойдут до перевала.

В тайге стало тише, унялись птицы. Ветер стих. Лучи бледнели на сером снегу и все чаще терялись в буераках, словно попутно находили себе уютную лежку. Густела морозная синева неба. Осины поблекли и отступили вглубь сумерек, к подножию горы. Оттого и показалось мне, что так резко и неприступно поднялась впереди нас малахитовая вершина. И нам предстояло на нее взойти! Нас ждала стена из каких-то невероятных деревьев, выше обычных раза в три!.. Стена выглядела монолитной, сомкнуто-чешуйчатой, как нераскрывшаяся шишка пихты. Даже в мыслях страшно примериться к ней!

— Что это? — спросил я, вытапывая в снегу ямку для отдыха.

— Это тот перевал. — Седой инструктор деловито обстукивал ботинками трухлявый пенёк. А послышалось: тут перевал. Будто он мог сдвинуть его в сторону, и сказать: там перевал.

Туристы задирали головы, прикидывая: не вернуться ли обратно. Но инструктор даже обрадовался нашим сомнениям, его ленивые верхние веки резко поднялись, широко открыв голубые глаза:

— Там, за перевалом, будет спуск к реке... По нижней дороге обойдем Красные скалы!.. Переправимся ниже... Можно заглянуть на черные камни, если не замело снегом!

Даже пересказать было длинно и путано. А нам предстояло это все одолеть.

И мы шли: след в след, повторяя движение инструктора на почти отвесном склоне, заросшем пихтацией в несколько ярусов. Мощным великанам у подножия вставали на плечи деревья среднего ряда, а тем в свою очередь — уже верхние гребешковые пихты.

Душный хвойный настой в застывшем воздухе не давал сорваться дыханию. Поначалу я мерил взглядом каждое дерево на пути — все они были обычного роста. Только оборачиваясь назад и видя на уровне глаз верхушки нижнего ряда, стал понимать, что стена подается. Будто раскусил зеленый орех!

Поднимаюсь почти вприсядку: упираясь ладонями в колени. Кровь стучала в висках, как метроном: шаг за шагом, вдох — выдох! Из-под шапки — капля за каплей. Соленая горечь на губах... Перевал мы взяли. Но ощущение новизны, как в первые часы похода, уже кончилось. Тайга везде была одинакова, как возле станции. А еще на вершине стало заметнее, с какой неприятной поспешностью угасает дневной свет.

Мы уже меньше старались петлять, выбирая путь под шатрами пихт. Шуршали подошвы ботинок,

словно наждачные. Весь день была капель от таявшего на ветвях снега. А к вечеру образовалась наледь, испещренная точками, будто от дробы. Иногда со следа ботинка сдвигалась тонкая снежная лепешка — и открывалась зеленая стойкая трава, не привыкшая еще лежать безропотно.

Отдыхали чаще. В эти минуты, блаженно замирая, было приятно уловить, как разгоряченное лицо обдувает какой-то знакомый, почти домашний поток воздуха. Словно ветерок из родной форточки.

6

Раньше я думал, что в поход нужно идти с пустой душой — для легкости.

Теперь понял, что силы можно черпать только из полной души! Если устал, то нужно вспомнить уютные ощущения, чтобы отвлечься от тягот похода. Я пытаюсь уйти с таежной тропы и представить, что сижу дома: пишу рассказ о зимнем походе. Горит настольная лампа, я рассеянно хлопаю ладонью по бумагам, ища закатившуюся ручку. Затем пью из домашней чашки и мысленно следую за своими героями, покоряющими снежные горы. У меня тоже устают плечи и спина! Вот сейчас оторвусь от рукописи и пойду отдыхать... Мой сын возится с игрушками возле письменного стола. Он забавно подражает моей сосредоточенности и требует, чтобы настольная лампа светила равно — на мою рукопись и на его детские карандаши.

Боже, сколько сил добавилось вдруг! Я вернулся в тайгу. Бледно-желтый луч, похожий на ровный круг от настольной лампы, осветил крону березы. И мне казалось, что если смотреть, не отрываясь, на солнечный свет, то он никогда не погаснет!

И, будто в подтверждение моих чувств, случилось маленькое чудо.

— Смотрите, — крикнул кто-то.

— Луна!

В глубоком распадке — приоткрылся темно-зеленый бархатный занавес — образовалась яркая щель. Как огромный фонарь горела луна. Казалось, что она подавала знак всем лесным жителям — идут чужаки! Луна даже позеленела с одного бока, задев край лесистой гряды. Моргали створки небесного фонаря, будто кто-то поправлял гаснувший фитилек — в тот момент луна проскальзывала меж пихт на вершине.

Почти театральное действие не могло остаться без продолжения, без эффектного финала. Чудеса продолжались: луне ответило солнце! Высокая береза на перевале озарилась ползущим по стволу ярким лучом, будто по флаштоку поднималось знамя!

Два светила протянули лучи друг другу: луна загорелась ярче, как наконечник древка, а солнце — с медлительной торжественностью — приняло команду спустить обмякший флаг!

7

Строевым шагом мы спускаемся в лог. И чем глубже, тем сильнее на усталые плечи наваливались сумерки. Мы шли им навстречу, хоть и надеялись как можно дольше избегать объятий полной темноты.

Все знали, что идти можно по верхней дороге, она и легче, и короче. Но седой проводник повел по низам, где больше зарослей и буреломов. От тоски и досады глаза мутила странная пелена, будто куриная слепота! При быстром спуске приходилось почти наугад упираться ладонями в шершавые стволы талин, с трудом улавливая размытые очертания тонких коварных сучков. Рядом с тропинкой выбрался из-под снега жидкий ручеек. Звук от его течения временами терялся. А ручей распадался на неглубокие стоячие лужи. Сделали остановку: на полминуты — рюкзак не снимаешь, но, согнув спину, двигаешь лямки по плечам. Опершись на палку, я разглядывал дно большой лужи, будто надел очки на усталые глаза. И странно, но зрение опять прояснилось: в прозрачной воде было отчетливо видно, как колыхались сопревшие травянистые бороды. Захотелось пить... Оказывается, сумерки иссушают душу!

Со всех сторон слышался шум воды, но этот звук не утолял жажду, а только увеличивал ее. Возникло новое беспокойство, что все эти потоки — уходящие куда-то в темноту — сбивают нас с дороги и еще, того хуже, уносят наши мысли и желания!

Чем глубже в лог, тем полноводнее становился ручей. Его бурный поток срезал края сугробов, выхватывал куски снега с веток ивы, с фыркающим звуком подныривал под скользкие коряги и каменные выбоины.

Но когда свернули прочь от ручья, так вкусно полоскавшего в лужах лимонный свет, стало еще тревожнее. Исчез наш хлипкий «поручень». И даже луна — кинулась было за нами, — повернула в сторону, чтобы бродить над руслом таежного ручья.

Темнота спускалась в овраг на наших плечах, утяжеляя рюкзаки. Временами я сдвигал тугие лямки, чтобы подsunуть под них ладони.

Вновь послышался шум воды. Теперь другой! Он стал гулким. А тайга, наоборот, как бы притихла. Не скрипел снег, не шуршал по хвое ледяной иней. В низине, среди опаленных чернью березок, юлила безродная протока. Болотная вода то терялась меж травянистых кочек и под сырым валежником, то опасно проглядывала на открытых местах сквозь желтый картонный лед.

Эта протока вывела нас к реке. Проводник шагал по заснеженным кочкам и тыкал палкой в гнущийся наст — из пробоин брызгала на лед темно-зеленая жижа.

А мы услышали загадочное слово:

— Цунгай!

8

Какое звонкое название — Цунгай! И в таком глухом месте! Медвежий край — пойма реки завалена буреломом каких-то ужасающих размеров.

Река шумела, заглушая гул крови в висках. В ломотях сумерек ее звук вызывал чувство приближающейся бури. Казалось, что гул воды скатывался на наши головы со всех склонов. Цунгай ворочался в придавивших его берегах. Комья снега, перемолотые на стремнинах, мутно таяли, превращаясь в рой белых пузырьков с лунным блеском. Серая снежная вата прибывалась к берегу, налипая желтой наледью на мокрые слоистые камни и затонувшие бревна.

Не знаю: кто кого застал врасплох — мы реку или она нас? Но я почти сразу потерял к ней интерес. Не хотелось ни думать об этой водной преграде, ни выискивать место для переправы. Тоскливое настроение одолело меня. Хотелось просто перелететь через реку, как во сне, а заодно — и все оставшиеся хребты и вершины на пути до нашей избы! Я брел, полз и карабкался, уже не задумываясь, где легче выбрать дорогу. И как бывает в чутком сне — сознание иногда прояснялось, не удивляясь ничему: я видел, что мы петляем по топким берегам, оставаясь все в том же месте. Это успокаивало, на реке — в крайнем случае — не потеряемся!

Уже совсем стемнело. Шли вроде бы быстро, а шаг получался все короче. Выручало таежное чутье: когда прикрыть глаза от внезапной ветки, а где не ставить ногу на тонком льду. Даже глубину воды под настом угадывал! На лбах туристов зажглись неоновые глазки. Голубые зайчики свивались то у стволов берез, то меж кустов талины, под сухими ветками пихт, будто затягивали огромную петлю.

У меня вздрагивала нога, когда хваткий луч внезапно обвивал ее, а заячьи следы при свете фонарей оказались белыми на сером снегу.

На полянке подняли рябчика. Он взлетел из совсем неглубокой ямки. Я разглядывал ее с каким-то навязчивым любопытством: рыхлый снег в лежанке перемешан с темными сережками и мелкими листочками. И было стыдно... Несколько раз подступались к переправе. Но каждый раз безуспешно. Поваленных деревьев через речку лежало много. Только подобраться к ним мешала береговая топь. Или цепкий снег на бревне, выросший из инея в морозы, опасно скользил под ногами. И пока наш инструктор корчился на бревне — тянул книзу трусливый рюкзак, — туристы ловили минуты отдыха. У каждого своя поклажа, а главное сейчас — не замочить спальный мешок и теплые носки!

9

В любом походе важно правильно распределить силы. Но еще важнее распределить свое терпение. Да-

же если ты стонал всю дорогу, отставал от группы, сбивая с шага, но, завидев избу, громко запоешь штурмовую песню — ты придешь победителем!

А после переправы можно сменить носки... Пока наши проводники решают: идти вдоль берега или ломиться в гору через перевал? Второй путь как будто бы короче. Но шум реки уже стал привычнее.

Мы пытаем инструктора:

— Сколько прошли? Половина есть?

— Нет.

— Нет? — Я разламываю обледеневшие шнуры. — Ну, хотя бы треть прошли?..

— Может, и половину, — хитрит инструктор, — но которая меньше!

Замерзшими пальцами снимаю ботинки. Пока сдирал мокрые носки — ступню свело от холода. За пазухой держу свежие, чтобы согреть. Поверх сухого носка, как портянкой, обмотал ногу шуршащим пакетиком. С трудом впихнул ее в сырой холодный ботинок, ставший вдруг неподъемным.

После недолгих споров проводники решили:

— Будем разматывать Цунгай!

Это значит, повторять все его повороты, изгибы, обходить бобровые запруды, если они еще не замерзли. И вот опять мы продираемся через береговые заросли. Розги ивы хлещут по рюкзакам. Мрачные обломки-пни с толстыми корневищами сидят на тропе, как калеки с деревянными култышками, и цепляют наши ноги.

Река шумит резко и торопливо.

Ее надсадный гул поселяется в моей голове. Шум воды сбивает с ритма, хочется делать короче шаг, короче думать, меньше вздрагивать от коварных капель за шиворот. А река несет и несет — в бессонном упоении — свой тяжелый отчетливый захлебывающийся всплеск, бурлит и рвется где-то у очередного затора. Мы слушаем ее равнодушно, и никакие стенания реки не вызывают сочувствия...

10

Пройдена точка невозврата. Когда не сможешь вернуть уже легкое настроение, например, в момент встречи луны с солнцем, чтобы оправдать этот поход. Теперь идешь на износ души. Или благодаря ее неведомым силам. Поднять силы в походе можно страхом, а успокоить — удивлением или даже чудом.

И как подтверждение тому, блеснул загадочный огонек меж лохматых ветвей. Будто свет из узкого окна! Что это? Кто там живет? На вершине горы, среди огромных деревьев, стоял каменный замок. Виднелись грузные кривые башни, крытые рыжим серебром, мерцала наледь на узорах кованого железа. Кривые ступени, залитые лунным светом, поднимались вверх и пропадали в каком-то темном проеме. Но почему мы проходим мимо? И никто не

удивляется близкому жилью. Никто не выдает себя даже коротким возгласом.

Я оглянулся: за мной шел, опустив голову, седой инструктор. Лунный свет на его седине горел точно так же, как окно призрачного замка!..

Глухо брякнула гитара в чехле.

Луна следовала за нами: то пряталась за вершины, то появлялась в кронах, расплескивая жидкий свет. Она одна подмигнула мне заговорщицки, мол, я-то видела замок! Это успокоило меня.

На противоположном склоне распадка появились луговины, освещенные изумительным сиянием. Невероятным уютом и теплом веяло от них! Темные пихты чуть склонились над полянками, как гости над белой скатертью, будто собираясь вечерять сочным таежным безмолвием. Я тоже присел рядом с ними, представляя, что и мне подадут сейчас миску лунной похлебки...

А когда очнулся — пришел мой черед тропить!

Луна поднялась уже выше деревьев. В ее голубом равнодушном свете совсем непролазными показались резкие тени в завалах. Тропа нещадно петляет, когда идешь в середине группы. Но когда тропишь первым — то понимаешь, что дорога кружит от твоей усталости. И обход поваленной пихты не облегчает путь, потому что дерево оказывается длиннее, а ветки у вершины более высокими и коварными! На открытых полянах снег доходил уж до колена. Ноги проваливались резко, и почти не встречались твердые кочки.

Наша цель — выйти на верхнюю дорогу. Ее главная примета — таежная просека и две колеи, оставленные лесовозами с осени. Несколько раз мне чудились заснеженные полосы. Я кричал, не узнавая свой голос: «Пришли!» Но это были длинные тени осин.

Усталые мысли терялись в чередке больших и маленьких полянок. У подножия отвесных скал казалось, что уж никак не миновать заветной дороги. Но, может, мы заблудились? И я иду первым оттого, что проводникам стыдно признаться в этом?

Я пробовал петь, так легче сознаться, сдаться и повернуть обратно: «Нам говорили, нужна высота!..» На подъеме орать бестолково, но почему-то очень хочется:

— И не жалеите ноги!..

Одинокий голос гаснул в тайге. Одно слово — один шаг: «С неба — упала — пала — запала...» Скрип снега — шипок нижней струны. От мучительной ходьбы мелодия быстро износилась. Остались лишь две ноты, дребезжащие над ухом: «шальная-ная-ная звезда». Я не мог отделаться от их визгливого звука: «вам-нам-там — на ладони!» И одновременно боялся, что, хуже того, вдруг наступит полная тишина. Будто она уж точно накроет мое слабеющее сознание... В ногу вцепилась острая боль, пронзая коленку, когда вытаскиваешь ботинок из цепкого снега.

Я сменился. Сойдя с тропы, пропускал вперед то-варищей, растирая колено. Боль спряталась куда-то вглубь, будто испуганная черепашка, корябаясь неуклюжими коготками. Совсем близко, почти из-под ног, вспорхнул еще рябчик. Он шархнул вверх по пихте, отчаянно сшибая с ветвей снег. И это уже не вызвало интереса. Кончился мой восторг от единения с природой. Теперь я был сам за себя.

11

Подрывает силы коварная мысль: а если вовсе не найдем избу? — Будем идти до утра! Выйдем к большой станции, на вокзале есть диваны!.. Отвечаю, сам себе не веря. Я начинаю грезить. Что-то вмешивается в мое сознание: не мутит его, чтобы не отменять приказ выжить, но развивает свой параллельный маршрут. Чего хочу я сейчас? Избу с теплой печкой — и в спальный мешок с головой!

Сколько вместишь в себя желаний, облюбуйешь, высмотришь, загадаешь — настолько и хватит еще сил идти. Нервная энергия заменяет физическую.

Обычный мой вечер дома затухал после определенного часа, и остаток сил уходил куда-то. Каждый день! И вот сейчас, после часа домашнего покоя, я жду, что они вернуться ко мне. Силы придут будто бы взаимы, хоть и не знаю: на каких условиях!

Я иду последним. Мне чудится, что какая-то ласковая нечисть дышит в спину! Душа одичала: в огромных корнях вывороченных деревьев я вижу лешаков и завидую их непокрытой голове, теплым ногам в сухих лаптях, а еще тому, что в тайге они у себя дома. Я слышу их песни: без слов — во все горло! И вот что странно: проблески сомнений в реальности леших — отнимали последние силы, тогда как наивная вера в них — силы возвращала! Я думаю, что народ придумывал нечисть — леших, русалок, чтобы окорачивать буйство своей природы. И чем добрее душа, тем больше священного благоговения перед лесными жильцами.

Узкий овраг заткнул мне уши снежной ватой. Не слышно ни хрустящего снега, ни шума воды. Тайга казалась пустой. Душа ослабла от бескормицы.

Обычная еда уже не помогала. На привалах я жевал что-то, не чувствуя вкуса. Кроме запаха морозного воздуха! И опять казалось, что за стволами осин кто-то прячется... Зверь ходит по тайге, пока не найдет себе добычу. А я ради чего? Чем мне восполнить силы? Это не преувеличение, что человеку важнее духовная пища. Сейчас я чувствовал это особо и с какой-то странной надеждой поднимал взгляд к небу. Огромный свод темнел наледью от края и до края горных хребтов. Светилась луна в золотом ореоле, будто лампада из зеленого стекла! Перламутровая глубина внутри лунного оклада казалась столь же непроницаемой и тяжелой, как риза на иконе.

12

Мы шли все медленней. Отдыхали стоя, по полминуты. И даже палка, на которую я опирался, все неохотней вынималась из снега. Тупая боль теперь свободно выползла из-под коленок и гуляла по обеим ногам. К тому же порвались мешочки в ботинках, и липкая жижа пробирала холодом всю ступню. Лунные пролежни на заснеженных полянах сбивали с пути наших проводников:

— Нет, не узнаю место!.. Там у меня ориентир был — старая береза, одна сухая ветка указывала прямо на избу..

В голубой дымке я увидел березу — похожую на многорукое индийское божество. Даже нога перестала болеть!

— Вон она!

Тяжело скрипя снегом, проводник обошел дерево с каким-то мутным благоговением во взгляде:

— Нет, не она!..

— Почему?

— Должен быть ручей... Он где-то рядом, в распадке!..

Голос инструктора с перламутровой сединой медленно удалялся, и мы пошли за ним следом, чтобы расслышать хоть что-нибудь обнадеживающее:

— Я чувствую, он где-то здесь... Тихо!

И добавил почти безнадежно:

— Снегом накрыло!

Идти вниз все же легче. Но приходилось быть начеку, чтобы не напороться на острые ветки и пни, в трухлявых опилках с дырками-язвами от короедов.

— А это точно наш лог? — закрываю глаза, налетев грудью на гибкое деревце. Обнимая осину, я чувствую пряный запах ее коры и морозную гулкую дрожь.

Проводник молча подкидывает рюкзак, уже откровенно натягивая штаны:

— Может, и не наш...

Спускались быстро. Сил не берегли. Я решил про себя: подняться из лога уже не смогу, если они ошибутся в очередной раз.

Но теперь наш проводник не скрывал радости, широко размахивая руками:

— Нашел! Нашел!

Его распирало от восторга:

— У ручья несколько притоков... веером! Вначале-то мы свалились не туда... Но я чувствовал — место знакомое!

Он даже снял перчатку и дергал свой безымянный палец, изображая им нужный приток. А мне подумалось: зачем он так кричит? К избе надо подойти тихо, чтобы не смутить ее сон...

Луна была в самом зените! Ее беспечный свет давил на воспаленные глаза. А мне хотелось спрятаться от ярких лучей, забиться в какую-то щель и притаиться, подобно пещерному человеку.

Подтянув в очередной раз шуршащие штаны, проводник вел нас уже с закрытыми глазами:

— Вон там за пихтой мы еще до снега дрова заготавливали! Да. А на той стороне склона — Мишка лыжу сломал... в прошлом году. Да. На ровном месте!.. Потом ковылял до кривой березы. Где у Абашева был схрон...

Все, что он говорил, тут же превращалось в какие-то тягучие картины сна. Видения не трогали меня, хоть и пытался я представлять, как Мишка хромал до избы. Как залазил в схрон на березе охотник Абашев. На ветвях лежат доски, на них фуфайка и валенки: охотник сладко спал, как ворон в гнезде. В этой полубредовой череде событий вдруг кто-то сказал, почти равнодушно: «Нет. Не то место. Похожее, но не то!..» И тут главное было не проснуться, не вывалиться из ощущения вязкого бесчувствия.

В лунном сновидении я брел дальше: по чужому ручью вверх, припадая через каждую пару минут на измученное колено в тупо-блаженном поклоне. И тайга равнодушно принимала мой реверанс. И опять кто-то что-то нашел... Опять сквозь пелену бессилия продрался чей-то зыбкий голос:

— Кажется, она!..

Я крикнул «ура!». Но не поверил. Мозги перевернулись на другой бок. В хмурой тени под горой белел какой-то треугольник. Крыша избы!.. Но почему так неосторожно вышла она к самому обрыву?... Треугольником оказались наклонившиеся друг на друга деревья... Хороший шалаш для зимней ночевки! Мне уже мерещился костер — дымятся мокрые ботинки, вялятся носки, парят вытянутые над огнем ступни голых ног.

И опять скрипел снег. Ноги вязли. Ручей петлял, скрывался под сугробами, разматывая наши нервы до голой катушки. Хотелось выть, орать, проклинать тайгу, больную ногу и свою глупость, когда я решился на этот поход. Только бы не сорваться! Только бы не выдать свою трусость! Лучше упасть и катиться вниз до самого дна оврага. А там зарыться в снег на всю глубину своего горя! Пока я представлял свое падение и реально ощущал колючий снег за воротником и в рукавах, рвущиеся звуки и колотушки по всему телу, — в тайге что-то изменилось. Она нарушила молчание! Какой-то шелест звучал со всех сторон. И это не был сон. Я различал его сквозь скрип снега и тяжелое дыхание моих товарищей.

13

Подул ветер. Снежная пыль шуршала по обледеневшей от пота шапке. Ресницы слипались от инея. Узкий лог распахнулся, и мы опять вышли к ручью.

В его широте было что-то обнадеживающее! Я огляделся: вся пойма была выстрижена под гребенку: будто все ивы, вербы и березки срублены топором в один мах и на одной высоте каким-то неуто-

мым дровосеком. Еще больше поразила огромная талина в полметра толщиной, она лежала в десяти шагах от берега — обструганный комель, словно карандаш, светился желто-оранжевой древесиной.

Бобровые владения!

Решили: с ходу перейти на тот берег. Идешь по плотине — она прогибается под ногами! Кажется, что в любую минуту развернется зыбкий наст, и ты провалишься в ледяную воду на неизвестную глубину. Тут даже палка не поможет, да и стыдно было дыривать чужую крышу!

Ступив на твердый берег, мы с облегчением сбросили рюкзаки. В лунном свете парила черная полынья. Из воды тянулась тропинка бобров, обледевшая грязью от речной глины.

— Из-за этих бобров русло меняется! — оправдывался инструктор. — Каждый год перекраивают!..

В полынье плюхалась брошенная ветка. Видимо, мы спугнули водяных работников, и сейчас они ждут не дождутся нашего ухода, чтобы затащить ветку в домик. На ужин!

Тихо шумела вода. Луна с любопытством заглядывала в полыньяю.

Как приятно сидеть возле плотины, чувствуя живое существо, которое хоть и прячется от тебя, но тоже теплокровное, тоже дышит и, так же как мы, хочет сытного ужина и уютного ночлега!

Чай в термосах давно кончился. Вынули фляжку с домашним ликером. Глухо звякнула цепочка с колпачком. Фляжку пустили по кругу. Я тоже выпил, придерживая колпачок... Мне вспомнился дом и недавний вечер, когда мы сливали с осадка новое вино, а на дне мутной бутылки искрился бархатно-гранатовый ил! За окном ноябрь, в кухне — дух подвяленного винограда, что растет в нашем саду. Еще вспомнилось, что я отец двух детей. И что мне много лет, и давно прошло то время, когда мама запрещала «брать в рот снег». Япил сладкий ликер. Закусывал таежным снегом с привкусом хвои. И почти не удивлялся, что по жизненному пути я иду теперь сам во главе — плохо ли, верно ли, зная дорогу. Идти мне, надеюсь, еще долго, и я этому конечно же рад. А наша снежная тропа — где-то посреди бескрайней тайги — всего лишь одна невероятно малая часть моей жизни. В голове прояснилось. Чего горевать? Не отыщем пропавшую избу, так выберемся на верхнюю дорогу, пойдем к станции. А там и до рассвета рукой подать...

Седой инструктор — стряхнув снег с виска, будто честь отдал, — поднялся и ушел: мол, поищу дорогу. Молча проводили мы навьюченную спину. Пустили по кругу оставшийся ликерчик. Куда торопиться — вся ночь впереди! Колпачок на цепочке хлестал фляжку приятным бодрим звуком. Правда, царапающие нотки становились все тоньше. А когда фляжка вовсе опустела, ее нутро выдохнуло влажный гул, подобный тому, что тянул из поймы ручья.

Нога моя онемела, но боль притупилась. Теперь я шел последним, надеясь, что крайнего туриста поймает первым в свои сети утренняя заря...

Где-то вдали послышалось что-то невнятное — словно берега ручья разжали припухшие губы!

Голос показался мне ворчливым и будто бы разочарованным в очередной раз. Мол, опять ошибся!.. Мы шли по дну оврага по следам инструктора, а крик повторился откуда-то сбоку, со склона. Видимо, он опять разглядел призрачную крышу. Я сказал себе под нос: «Ну, разжигай печку, если нашел!» В конце концов, должна же где-то быть печка!..

Группа сжалась, туристы вытягивали руки и ловили плечо впередиидущего, словно вереница слепых бродяг. Тропа петляла, мы спотыкались о толстые корни. Под ноги я уже не смотрел: лишь улавливал с досадой, когда ботинок засасывался в черный ил! А когда прибрежная грязь стала вовсе непроходима, показался мостик с перилами из жердей, бросающих на чистый снег изломанную тень.

Перед мостом была запруда из камней, а возле нее — рубленая баня, прижавшаяся к каменному утесу. В эту минуту захотелось вспомнить простое и хорошо знакомое чувство усталости после парной. Я присел на завалинку бани, на кучу старых веников, припорошенных снегом, и бездумно глядел, как переливаются на воде темные маслянистые струи. На дне омута — лунным просевом — рассыпалась белая галька! Огромные валуны крепко спаяны мхом, и казалось, что ручей шумит здесь почти кротко, признав силу людей, перегородивших его.

Уже с большим трудом я ступил на мостик (потом это повторилось на крыльце дома) — ступни вдруг пронзила острая боль. Было в ней какое-то отчаянное неприятие ровной поверхности, будто теперь я мог ходить только по мягкой земле или снегу.

Последний подъем казался вовсе бесконечным! Бревенчатая изба не вышла навстречу. Она лишь постепенно нависала над моей головой темным козырьком высокой крыши. Дверь открыта настежь, в сизой морозной мгле рыскал огонек фонарика.

Я вошел, спотыкаясь на пороге. Изба взяла меня за пазуху, как подброшенного котенка.

Голубые лучи проникали внутрь через мутные окна: они лежали на холодных нарах, на стывших кирпичах печки. Их присутствие холодило душу. Лунный свет щипал усталые глаза. В нос ударил запах копченой глины, осинового дыма и сыпучей трухи от березовой коры. Боже, каким мгновенно прекрасным показался мне этот запах!

14

Вот вспыхнула свеча, подпалив голубые щупальца лучей. Вспомнилась огромная солнечная свеча в осиновом лесу. И так легко соединилась она с ма-

ленькой свечкой, горящей теперь на столе. Мне тоже стало легко, а более того — радостно, что не забыл я ту свечу! Вернее сказать: сохранил тот настрой удивления! Весь мой поход, все мучения вместились в один миг, уже прожитый. Что-то странное, вроде грусти, чувствовал я сейчас!

Испачкав золой новые штаны, возился у печки инструктор. Охотничьим ножом строгал щепу для растопки. Нудно скрипела заржавевшая железная дверца. Затрещала в огне березовая кора. Плоской сизой лентой выползал дымок из щелей печки. Не раз поперхнувшись от натуги, рывками прерывалась дымная лента, а затем распушалась едкими клубами. Туристы переодевались, распространяя в холодном воздухе запах отсыревших тел. Горьковатый дым окутывал их, путался в мокрых футболках и носках, поднимался вверх, ударяясь в потолочную балку. Туристы усаживались на нары, чувствуя холод сырых досок.

От суеты в доме моргала свеча. Блестел на столе граненый стакан. Из него торчали — алюминиевой хризантемой — гнутые ложки и шербатые вилки.

Главное сейчас быстрее согреться — гуртом сдвинули походные кружки. И вот уже склонилась над ними в холодной испарине победная фляжка!..

Изба нагревалась медленно, картошка в чугушке — сколько ни пробовали — была еще сырой; мы пили водку, закусывая помидорами с хреном.

— Это таежное сало?

— Окорок с лесной смородиной.

— Вот гляди! Мяса с палец!..

По свече сползали робкие капли.

Я разглядывал, словно впервые, лица своих товарищей: темные глаза, сильные руки, нагруженные плечи! Казалось, что сейчас мы все похожи: и лицом, и голосом, и движениями.

Одна девушка смеялась виновато: «Разлился кетчуп на крыльце!» Маленькая, на вид такая хрупкая, что роговая оправка очков казалась самой прочной частью ее образа. Она легко отрывалась от стола и шла к печке, сама назначив себя дежурной. Затем возвращалась, размахивая половником, как дирижерской палочкой:

— Ну, надо же, кетчуп пролила!

— Да брось ты! Не водка же!..

Седой инструктор пылал красными щеками, будто снегирь после купания! У него открылась забавная черта: он умел громко смеяться каким-то неподражаемо вкрадчивым звуком. Владелец шуршащих штанов пил из кружки, прикрывая верхние веки, с свиной безмятежностью. Самым выносливым из нас оказался застенчивый блондин: последние пару километров он нес два рюкзака попеременно. А сейчас скромно поправлял ладонью мягкий чуб на стриженной голове, похожий на желтую огуречную завязь. На нарах сидела, спиной к столу, еще одна девушка. Лицо ее из «прошлого, из былой печали», глаза сощурены на лун-

ный свет. Она приладила на колени гитару и запела как-то исподволь, никого не перебивая: «С нами женщины, все они красивы!..» Ей подпевали вразнобой, как бы вспоминая каждый свое: черемуху в цвету, костер у реки, лодку на озере. Одним словом, свою туристическую молодость — за ней и в тайгу оправившись!

Разговор теплел, горели уши. А у меня было чувство, что это еще не ночлег. Хоть и постелили на нарах уже спальные мешки. Сердце не могло успокоиться! Не хотело смириться, что без его участия тоскует ветер в горах, точит вода лед в проталинах, грустит луна в туманном ореоле. А затем, как водится в таежном застолье, — настала минута просветления. Когда вдруг остро почувствуешь свою заброшенность в дымной избе, посреди тайги, а тело все болит, отказываясь завтра идти куда-то...

И наперекор минутному отчаянию запели тихо, без надрыва, с какой-то отрадной легкостью в душе.

Удивительно, сколько сил осталось в ней!

Наша дежурная сидела во главе стола, она черпала половником высокие ноты и «раздавала» их солистам. Сотрясая голосами бревенчатые стены, хотелось показать, что душа во время похода не переставала любить и мечтать! И что страдания возможны только в нижнем пределе сознания. Но поднимаясь выше инстинкта самосохранения — они становятся почти блаженством! Гитару передавали из рук в руки. В тесноте за столом приходилось задира́ть гриф к потолку. Пели так же, как шли — одолевая поэтические страдания только раз! Потому что завтра никто не осилит тот же путь, как не сможет повторить сегодняшних романсов...

Перед сном я вышел из избы. Звезды роняли с неба голубой иней. Его колючки дырявили голые плечи. Скрипел снег, не узнавая мои шаги. Я вдруг почувствовал — очень остро — свой терпкий человеческий запах, чуждый тайге.

Вернувшись в дымное логово, забрался на нары и бесшумно провалился в сон. Но вскоре очнулся — ноги ломило, будто их собаки грызли! К тому же за дверью раздавался какой-то странный звук. Сосед на нарах не спал и объяснил мне, что, скорей всего, на пролитый кетчуп набежали зайцы!

Чтобы утихла боль в ногах, есть верное средство — ходить по снегу босиком. Пришлось опять выбираться из теплого спальника, идти по полу, спотыкаясь о рюкзаки, дрова и спящих товарищей.

Тихо открылась дверь, и даже не сразу уловил взглядом белый комок, метнувшийся с крыльца. «Правда, зайцы!» — равнодушно мелькнуло в голове.

Белый комок остановился у ближайшей пихты. Заяц вдруг встал на задние лапы и поднял — в лунном свете — огромные уши. Мол, не боюсь тебя, и ты меня не пугай!..

Лунный ореол побледнел, словно вышарканное драповое сукно. В воздухе стало теплей. Я улыбнулся на зайца, подумав, что завтра сменится погода.

Павел Пономарёв

(р. 1984)

Вениамин

Кофейная жижа поблескивает, как мазут, в белой кружке. Официантка чуть слышно хмыкает, разворачивается, уходит. Чем-то недовольна. Что-то нужно было сделать из перечня бытового этикета, учитывая ее возраст, внешность и фальшивую услужливость. Забыл что, не умею. Последний раз я улыбался, кажется, весной, когда в нашей коммуналке забился общий «толчок», расцвела сирень, а полоумная соседка (в прошлом учительница) читала сантехнику «Незнакомку».

Теперь уж давно не весна и не лето — конец октября. Стали как-то по-стариковски мерзнуть ноги, липнуть пальцы от чрезмерного употребления сладкого кофе, которым я обычно согреваюсь здесь, в этом кафе, и наблюдаю за посетителями.

Себе я малоинтересен. (Кстати, я худошавый блондин с пшеничной бородкой, одетый в длинное поношенное пальто.) Но меня увлекает врожденная потребность — наблюдать за людьми, бегущими, прорывающими паутину повседневности, грезящими о чем-то своем, личном, хватающими медовые пряники на лету, с воздуха, или застревающими в этой паутине с широко открытыми глазами, с гримасой страха, как бы недоумевая.

Я смотрю на посетителей, как на гениальные полотна в какой-нибудь Третьяковской галерее, — долго и вдумчиво. Все они — «маленькие люди», но каждый из них заслуживает стороннего любопытствующего взгляда, хотя бы потому, что появился на этот свет и поморщился, родившись, от этого света, и задумался, увидев то, что предстало под этим светом, и ослепнет от жизни, сомкнув очи, и не увидит больше этого света... Мне нравится наблюдать за непринужденностью человеческого существа, инстинктивно ищущего мизансцены, предложенные ему незанятым пространством, вопреки тому главному, что должно его, как минимум, беспокоить, а, в сущности — терзать и мучить: кто я, какого черта я здесь делаю и что вообще такое здесь со мной происходит? Но человеку свойственно уклоняться от опасных вопросов, тем более что перед его глазами всегда раскрыт спасительный «сценарий жизни», написанный задолго до его рождения какими-то умными чуваками.

Возможно, я тоже с интересом бы изучил этот сценарий и стал, как говорится, жить-поживать и добра наживать, если бы не встреча с одним убогим человечком по имени Вениамин.

Впервые я увидел его здесь, в этом кафе. Он уверенно сидел за столиком как завсегдатай и перебирал мелочь, собранную за день. Своим занятием он чем-то напоминал женщину, которая с серьезным

лицом выбирает из риса мелкие камушки и суеверно откладывает их в сорную кучку. Его действительно можно было принять за женщину, если бы не белый пушок на щеках и не грязно-коричневые широченные брюки, «гармошкой» сползающие к убитым рабочим ботинкам.

Вот краткая история, найденная мной в архивах психоневрологического диспансера города N, описывающая центральное событие из жизни Вениамина.

* * *

«Вене было пять лет. Он сидел под столом и грыз сырой картофель. Его родители по обыкновению были пьяны. Завязалась ссора. В момент, когда бутылка с водкой, стоявшая на столе, покачнувшись и устремилась на его голову, Веня держал в ней две мысли. Первая адресовалась отцу, чтобы доставить ему радость и побудить к примирению: здорово живешь! — любимая присказка отца, когда тот пьяный возвращался домой. Вторая мысль относилась к матери, которая стояла на пороге, собираясь уйти навсегда, в ночь: мама, куда ты? Когда же недопитая бутылка опрокинулась на голову мальчика, мысли смешались в одну. Мальчик сильно поглупел после травмы и всю жизнь, встретив человека, задавал один-единственный вопрос: *куда ты живешь?* Больше ничего не говорил, шурился на солнце, звенел мелочью и ждал человека, чтобы сказать ему то единственное, что он вообще был способен сказать, ибо после того случая его сковала немота, а разумом овладело созерцанье.

Записано со слов бабушки больного.

Лечащий врач Ф. Ф. Графоманов.

Я сидел на своем обычном месте, в углу помещения, поскольку отсюда удобнее всего наблюдать, и размещивал серебряной ложечкой кофе. Ложечку я всегда ношу с собой, надеясь встретить человека с хорошим вкусом, который бы заметил и восхитился чудным блистанием серебра на фоне задумчивого нищеврода в черном пальто. Но, судя по пойманным взглядам, такого человека рядом не было, кроме одного. Он с детским любопытством наблюдал за круговращением серебра в черной жиже, и, казалось, ему ничего не нужно было — только бы смотреть. Этим человеком был Вениамин.

На тот момент он уже успел подсчитать мелочь и купить себе борща, бледную котлетку с гарниром и кофе. Но Веня не касался еды, а все смотрел на мою ложечку, моргая пустыми васильковыми глазами без ресниц. Наблюдая за ним, молоденькие официантки за стойкой сдерживали смех ладонями, показывали на Веню пальцем, но никогда не обижали убогого. Видно, в детстве они узнали о людях, обделенных природой, и боялись Бога.

— Нравится? — с кривой улыбкой спросил я его, как ребенка.

— М-м-м, — промычал Веня и тоже улыбнулся.

«Идиот», — подумал я про себя, запив неловкость двумя глотками сладкого кофе.

Нахлынула волна шумных посетителей из студентов, в лицо пахнуло осенней свежестью с примесью дальних костров и дешевой девичьей парфюмерии. Официантки вмиг разбежались, дав мне возможность без лишних глаз обдумать случившийся конфуз. Я всегда обдумываю случившееся, даже всякую мелочь, — если меня кто-нибудь ошибочно окликнет в толпе, или, скажем, если вместо пяти пальцев у человека вдруг окажется три. А где другие два? Или — почему именно меня сочли за кого-то своего, а не кого-нибудь другого?..

Пока я разглядывал студентов, разматывающих яркие шарфы, Веня поднялся, сделал несколько шагов и очутился напротив меня. Он пристально посмотрел на серебряную ложечку, затем поднял глаза и сказал: «Куда ты живешь?»

Я не ожидал, что «блаженный» поставит вопрос именно так. Я вообще не думал, что он будет говорить со мной. Обычно такие люди пугливы и замкнуты внутри своей обреченности. Но вопрос был задан. Мне оставалось либо уйти, либо совершить очередную глупость, открыв свои мысли незнакомцу. Я постарался быть честным и добрым.

— Не знаю, — ответил я ему.

Никто из окружающих не отвлекал нас от странной беседы. Фоном играло радио из потолка. Пахло кухней, остатками осеннего дыма и кофе.

— Наверно, как и всякий, я живу к смерти, — продолжил я, — но не осознаю этого, потому что, как и всякий, боюсь смерти...

— Куда ты живешь? — словно бы не слыша моих слов, голосом автомата-лохотрона для лова зверушек повторил Веня. Его не удовлетворил мой первый ответ. На моем безоблачном челе образовалась тревожная морщина.

— Хорошо. Скажу иначе. Если, конечно, я правильно понял твой вопрос. Как человек, верующий в Бога, я надеюсь обрести покой на небесах. И если исходить из твоей весьма странной постановки вопроса — «куда», то живу я, по всей вероятности, в Царство Небесное... Хотелось бы надеяться.

Веня поморгал глазами, улыбнулся блеску серебряной ложечки, облизнул губы и по-младенчески пролепетал:

— Куда ты живешь?

Я не стал сердиться на больного человека. Отпил из кружки. Жутко хотелось курить. Я убедил себя, что этот человек интересен с точки зрения наблюдения и поэтому нет повода для раздражения. Наблюдай, клади в копилку нелепости и причуды, которые ты так любишь, — успокаивал я себя.

Еще я подумал, что его, должно быть, не раз били за этот вопрос. И действительно, посмотрев внимательно, обнаружил на лице Вениамина едва замет-

ную синеву под глазами и характерную горбинку сломанного носа.

— Да, в сущности — *в никуда*, — равнодушно ответил я. — Я вообще не понимаю — зачем люди появляются на свет, рожают других людей... Зачем все это? Чтобы бороться за выживание, искать себе пищу, делать карьеру? Глупо. Посмотри на этих беззаботных студентов, на эти «полевые лилии»: не трудятся, не прядут. Они не задаются подобными вопросами. Им все равно. Им кажется, что мир создан для них, что космические планеты вращаются вокруг их жалких интересов и что будущее в их потных руках. И трудно им не завидовать...

— Куда ты живешь? — настаивал Веня.

— Опять ты за свое. Ну, а куда ты живешь, сам-то знаешь? — грустно усмехнулся я, понимая, что вопрос уйдет в пустоту.

Веня по-рыбьи смотрел мне в глаза. Ни всплеска, ни шепота... Водная гладь.

— Ага, не знаешь! Вот и я не знаю. Кофе будешь?

— У-у-у, — согласился Вениамин.

Я пошел к автомату, чтобы взять кофе. Девушка на кассе попросила найти ей десять копеек для размена. Обычно я отказываю, но тут решил повозиться, чтобы растянуть время. Кофе уже не хотелось. Хотелось поскорее выйти на улицу и просто пойти по усыпанному листьями тротуару, навстречу дальним кострам.

Когда я вернулся к столику, Вениамина на месте не было. Осмотрелся по сторонам — как в воду канул. Я вздохнул с облегчением. «Куда ты живешь? — иронично подумал я. — Куда надо, туда и живу». Надел пальто и вышел на воздух. Вышел и увидел следующую картину. Двое мужчин у черного джипа жестко обрабатывали Веню ногами с обеих сторон. Заходящее солнце приятно шурилось сквозь голые ветви деревьев, окрашивая город в нежные пастельные тона. Глухие удары не нарушали вечерней гармонии. Люди застенчиво проходили мимо, шурша пожелтой листвой, неслышно шаркая подошвами по асфальту. И если бы Веня каким-то чудом избавился от натиска остроносой обуви и задал людям вопрос: куда вы живете? — люди бы ответили: мы живем своей дорогой, а ты лежи — своей и не мешай нам хранить покой и тепло для неопределяемого завтра.

— Э, мужики, оставьте его! Он же больной! — крикнул я, приближаясь к разъяренным особям и их жертве.

— Какой, на х..., больной. Чё он тут базарит — «куда живешь». Ты его знаешь?

— Да так. В кафе видел. Мужики, он реально больной.

Мужики остывали, похрустывая пальцами и сплевывая горячую слюну на асфальт. Веня медленно карабкался по автомобилю, силясь подняться на ноги.

— Э, машину мне не поцарапай, урод! — пролаял мужик.

— Убить этого хрена мало, — поддержал другой.

Веня встал на ноги, размазал кровь по губам и, хромя, поплелся вверх по дороге. Казалось, на фоне вечерней пасторали в розоватых тонах он был лишним, как нелепое пятно, оставленное художником случайно, по ошибке. Веня и сам был ошибкой в человеческой толпе, которая не принимала его, выталкивала, но неизменный закон гравитации давал возможность быть с ними на равных — ходить по земле, есть одну пищу, дышать одним воздухом и удивляться по утрам чуду восходящего солнца.

Мужики закурили. Я осмелился стрелкнуть у них сигарету и тоже закурил. Вени на горизонте уже не было.

— Не, ну нормально, — обратился ко мне один, — стоим чин чинарем, девчонок ждем. А тут этот бомжара подходит, говорит: куда ты, типа, живешь? Нормально, да?

Мужик усмехнулся, и следом же растянул губы другой.

— Ну, мы его и прессанули маленько, с Коляном. Прикинь, девчонки приходят, а тут это тело воняет.

— Понятно, — промолвил я. — Ну, он вроде как больной. И ничего не говорит, кроме этого: куда ты живешь?

— Нам не зачтется, мы не знали, — сказал Колян. — Мы тоже люди, понимаем.

Понимающе помолчали.

— А все-таки жаль... — выдохнул я и отправился вверх по тротуару.

Я пошел своей дорогой, мужики — своей. На город напоздали сумерки. Холод пробирался под пальто и жалил в пустоту сердца. Мне не было жаль Вениамина. Сказал я это, чтобы уберечь себя от насилия, чтобы не испытывать боль, которую чувствовать неприятно.

Веня знает три слова. Я — тысячи. А зачем? Бутылка водки, разбившись об голову, сделала его пророком. Очень грустно. Очень по-русски.

Больше я Веню никогда не встречал. Возможно, его убили. Возможно, он сам умер где-нибудь на пустыре от невозможности не говорить опасных слов людям. Такова участь пророка.

Галина Батюк

(р. 1995)

Подснежники

Сидя прямо у подножия большого черного книжного шкафа, судорожно и отчаянно перелистываю пожелтевшие страницы, изгоняя пыль из очередного тома. Крупинки пыли, вылетевшие из книги, поднимаются в воздух и попадают под точный прицел луча солнца,

оседающего за горизонт, и, словно цирковые акробаты, кружат и вертятся под светом этого луча-прожектора. И искала я тогда не то очередное заданное стихотворение, не то чью-то биографию, впрочем, ничего я так и не нашла, не считая того, что пальцы мои в какой-то момент прекратили безумный свой бег, наткнувшись в иступленном недоумении на препятствие. Под моей ладонью лежало тонкое бледное тельце подснежника, заблудившегося в серо-зелёном томе с надписью «Тургенев». Иссушенная бледность его не могла растворить всех красок когда-то бывшей весны и молодости. Пальцы мои гладили это цветочное тельце, прощупывая нежную святящуюся кожу на стебельке и ворсинки, которые начинали ритмично пульсировать от вздоха гуляющего ветра в комнате, отчего казалось, что находка моя — живая, дышит, а я спасла её от многолетнего плена.

Я почувствовала, как он, первовестник вечной весны и вечного обновления, вдруг пустил в меня корни, кольнув так сильно, что и не подумаешь, что слабый, иссушенный цветок на это способен. Он пустил корни, которые, постепенно прорастая, бередили ископаемые залежи воспоминаний пятнадцатилетней археологической давности. Хитрая моя находка так умело воскресила во мне мир прошлого и отжившего, что сквозь туман забвения и тлена стали проступать запыленные, отодвинутые на задворки новыми заботами и чаяниями образы, приобретающие почти плотскую форму. Меня поглотила та бесконечно странная стихия, которую называют человеческой памятью. Слово в водном растворе проявляющиеся фотокарточки, выходили из мути забвения старые чувства, привязанности, надежды и детские, но всё же страдания. И каждое из тех проявляющихся в красном растворе лиц вдруг оживало, вочеловечивалось, и каждый персонаж, которому принадлежало лицо, словно подходил ко мне, брал за плечо, молчал и снова уходил в темноту. Мир, внезапно оживший и заговоривший во мне, пах мамиными пирогами с грибами и картошкой, пах ладаном и воском, звучал потрескиванием свеч и строгим, стройным пением откуда-то с недосягаемых хором, с которых доносилась короткая фраза как лейтмотив детства: «Господи, помилуй!»

Это был совершенно необыкновенный мир моего детства. Я не ходила в детский сад, в самый чувствительный возраст я прошла совершенно иные институты, отголоски которых, наверное, будут со мной до самой старости. Да, вместо детского сада я ходила на мамину работу. Обычно чьи-нибудь мамы работают бухгалтерами на предприятиях, учителями в школе, кассирами в магазине, а моя мама работала в церкви. Вместо детсадовской столовой с крохотными столами и стульчиками — церковная трапезная с длинным большим столом из плохо отесанных досок, за которым сидели мы стройным рядом — братья и сестры, вместо уроков музыки — клирос и

хор, которому я силилась подпевать, как могла, вместо воспитателей — работники и прихожане, которые составляли, как мне казалось, одну большую семью. Как взрослая, выполняла небольшие поручения: «К венчанию всё готово!» — рапортовала я.

Все мы были Валечками, Любочками, Юрочками, но не от панибратства, а от какого-то совершенно естественного для нас состояния любви всех и вся. От всей души мы радовались друг за друга и огорчались, сопереживали и добровольно перекладывали часть чужих бед на собственные плечи. Наверное, радость той православной общины была подобна радости первых римских христиан, легитимно вышедших из катакомб: нам, как и им, дозволено было молиться без всяких паролей, явок и шифровок. Всё было правильно и взаимосвязано для меня, все было как бы проявлением вселенской гармонии и законного миропорядка. Тогда я, кстати, не боялась смерти. Я отчетливо видела перед собой обыкновенный человеческий цикл жизни: вот крестили младенцев, вот венчались пары, люди исповедовались, причащались и соборовались, вот отпевали усопших. Тогда я могла спокойно подойти к гробу с телом умершего, с детским любопытством заглянуть, перекреститься и пойти дальше, повергнув в недоумение непосвящённых: ребёнок смотрит на покойника — какой ужас! Сознание тех людей не было задымлено фимиамом, не было погружено в сумрак тусклых церковных окон — просто они лишь с чуть большим смирением, приятием и долготерпением относились ко всему происходящему.

И среди лиц, вышедших тогда из темноты, всех отчетливее и яснее засияло одно — лицо Юрочки, церковного шофера. Вот очертания становятся совсем различимыми, вот я уже держу его за руку. Мне пять лет, я сижу, притихшая, у него на коленях. И так сидеть я, тогда маленькое веретено, могла, наверное, целую вечность.

— Что это мы тут опять задумали, молчальники-исихасты? — выглядывает из-за двери голова мамы.

— А ничего... — мы просто сидели, прижавшись друг к другу, и молчали. И так молчать, как молчал Юрочка, больше не умел никто в моей жизни. Вот так сидим и думаем, каждый про своё и про общее вместе, и сразу нам становилось всё понятно друг о друге. Уж не знаю, бывает ли дружба между мужчиной и женщиной, но вот между взрослым и ребёнком бывает точно: я в этом сама убедилась.

Где-то в антресольном заключении томится у меня тигр, игрушечный, естественно, — старый, пыльный, с янтарными глазами-пуговицами, с длинным хвостом, и на животе пришит клочок бумаги со словами «Гаяль Батюк» — нет, это не он, конечно, Гаяль Батюк, это я, просто мама ему когда-то пришила опознавательную метку, чтобы не потерялся. Носила я его с собой в школу (он меня тогда охранял от всех бед, невзгод и недру-

гов). И мне его, разумеется, подарил Юрочка. Почему «разумеется»? Потому что только такой человек, смелый и великодушный, мог подарить тигра. Если вернуться на миллион лет назад, в моё раннее детство, то можно застать меня, лежащую на кровати с полуоткрытыми хитрыми глазами, потому что проснуться уже проснулась, а вставать не хочу. Луч солнца меня щекочет, а я не встаю: у меня день рождения. И вдруг шепот за фанерной стеной — всё слышно:

— Ну что ж ты выдумал, дарить такого зверя ребёнку?

— А, ладно...

И вот заходит торжественная делегация в мою комнату: красивая мама в платье с подсолнухами, солнце косо падает на неё, и подсолнухи идут ей ещё больше, и волосы её отливают медью (мои тоже сейчас так отливают), и вся она как будто сияет, и Юрочка, строгий и весь в черном, и оттого он всегда немного походил на монаха, и голова его была подёрнута сединой. Они немного стоят, наверное, волнуются, а потом Юра протягивает тигра и говорит: «Вот, Галочка, с днём рождения!» Не помня себя от счастья, я хватаю тигра, обнимаю его, потом Юрочку, потом тигра и Юрочку вместе. Тогда мне казалось, что, чем сильнее человека обнимаешь, тем большую доказываешь любовь.

У каждого была своя дорога к Богу. Например, в конце двадцатого века в храм потянулась местная интеллигенция: писатели, художники; все они были людьми ищущими, вопрошающими, их волновали самые разные вопросы человеческого и внечеловеческого бытия, многие из них потом из человека ищущего превращались в человека нашедшего. Ещё до разрушения Советского государства, когда к религии относились не то что холодно-скептически, а прямо-таки агрессивно, некоторые интеллигенты диссидентствовали, и вера для них становилась такой своеобразной формой протеста. Но и в последующее время, когда дымка романтично-героического флёра вкушения запретного плода была рассеяна, многие из них оставались ведомыми настоящей внутренней потребностью, т. к. уже никакая другая религия (а их вместе с эзотерическими течениями хлынуло немало) и никакая другая идеология не могла удовлетворить их.

Юрочка же забрёл в церковь случайно. Но случай — это ведь псевдоним Бога. Так, кажется, кто-то из великих говорил? Юрочка забрёл в церковь и увидел, что перед ним словно бы прокручивается кинолента. И на каждом кадре запечатлена его жизнь, бедовая и странная. Это мне рассказали потом, когда я была уже совсем взрослой, а тогда он был для меня просто лучшим другом, немного загадочным, и мне было совершенно не важно, какими путями он здесь оказался, главное, что он просто был.

По законам существования некоторых литературных форм, герой однажды отправляется в путь-

дорогу. И вот наш Юрочка уехал на Афон. Не насовсем, конечно, он приехал, но, кажется, не вернулся. Говорят, он очень переменялся тогда, говорят даже, приехал оттуда совершенно новым — ещё более собранным, спокойным, он как бы воспарил над бытом и житейскими невзгодами, не теряя при этом какого-то обыкновенного человеческого милосердия и снисходительности.

Как-то на всенощной я откровенно клевала носом. Юра подкрался и шепнул на ухо:

— Слушай, не спи, а? Знаешь, что на Афоне в таких случаях говорят?

— Что?

— Там для таких, как мы, есть специальные монахи-будильщики, я серьёзно. Они подходят, как я вот сейчас к тебе, и говорят: «Не спи, брат! Господь близок!» Так вот и я тебе хочу сказать: «Не спи уж, сестра, пожалуйста. Господь близок».

— Господь?!

После Афона он ничего не мог слушать, кроме греческих песнопений. А они и вправду какие-то нездешние: кажется, что звук рождается не в гортани у певцов, а катится откуда-то высоко-высоко с гор, собирая при этом все камушки, большие и маленькие, собирая воздух, собирая ветер, и летит на нас, как снаряд, а мы не боимся, а только подходим ближе, подставляем грудь и, увлеченные общим потоком, летим вместе с ним. Юрочка всё житейское и нежитейское воспринимал в каком-то немного гипертрофированном, преломлённом виде, он был, наверное, лакмусовой бумажкой той среды, где я росла. Если было сказано, что после принятия Святых Даров, т. е. после причастия по обыденному, нельзя терять благодать, то он старался это выполнить как можно дольше. Он мог не разговаривать целыми сутками после причастия, вызывая уже и гнев, и возмущение своих сотоварищей по общему делу, а только слова он при этом ни одного не проронил. «Юра, ну хватит уже, это ведь тоже все символично!» А в ответ только: «Мм-мм», — и качание седой головы в разные стороны. Каким-то удивительным, причудливым образом в нем сочеталось смирение и свободолюбие, кротость и достоинство, каким-то совершенно монументально незатронутым стоял он перед всеми невзгодами, перед начальствующими и сильными мира сего, перед житейскими бедами и огорчениями. Не был он каменно-непроницаемый, как это может показаться, был щедр на душевные движения и содрогания, но при этом нес в себе какой-то свой особый лик человеческий, нес какую-то внутреннюю благодать, внутреннюю цельность, неразрушенность, как несут огонь из церкви, чтобы потом все уголки, все тёмные закутки собственного жилища и собственной души осенить ярким пламенем.

Однажды была весна. Такая, какую я люблю, — с сереньким небом, с тающим чернеющим снегом, с

распутицей, с клокочущим запахом надвигающейся неизбежности, неизбежности обновления и воскресения, избавления от всеобщего морока, тлена и оцепенения. Потом я узнала её на картинах Саврасова, а тогда только могла понять в себе это состояние по свербящему чувству вырастания какого-то внутреннего цветка, внутреннего солнца, которое давало ощущение всеобщей безусловной радости и согревания. И в один из дней такой весны у Юрочки был день рождения. И был праздник — Сорок Сороков. Это христианский праздник, в этот день принято вспоминать о невинно убиенных за веру римскими воинами сорока мучениках. Мама состряпала пирог с картошкой в подарок Юрочке, слепила сорок жаворонков из теста. Они смиренно сидели на подносе — одинаковые, как родные братья, поблескивая яркими зрачками из клюквы. Юра с благодарностью принял дары и, уже сбегая вниз по лестнице, спросил:

— Галочка, что тебе на День Ангела подарить?

— Поооод-снеееж-ниииии-киииии! — закричала я. — Ты понял? Пооднеежнииикиии!

Наверное, мне тогда и в голову не могло прийти, что заставляя взрослого занятого человека искать подснежники — несколько нескромно.

Следующий день начался с того, что мама отчаянно поворачивала нервными пальцами скрипучий кружок старого телефона. «И где этот Юра? Вечно он опаздывает! Нам же в Епархию нужно!» — сетовала она. Голос в скрипучем телефоне что-то сказал. Мама закрыла лицо руками. Юрочка умер. Юрочку убили. Нет больше Юрочки. Когда мы всей церковью хоронили его, светило яркое солнце. Когда в свежерыпанную яму стали опускать Юрочку, бабушка отвела меня в сторону и сказала: «Сегодня светит солнышко. Давай на сугробе нарисуем для Юры солнышко». И мы стали сучком чертить на сугробе солнце.

Его накрыла та страшная стихия, которую называют лихолетьем конца прошлого века. Он увяз в той самой весенней распутице.

— Ребят, подтолкните машину.

— А ты за это нас подвези, дядя.

Подвез. Тело выбросили в кювет.

Как-то на пороге нашего дома оказались две женщины. Одна из них протянула бумажный сверток, в котором мохнатые, как котята, лежали подснежники.

— Возьмите, вот. Представляете, там ещё снег не стаял и грязь не сошла, а они, молодцы, пробилась. Мы сегодня ходили туда.

— Это там, где его... — Мама не стала договаривать.

— Да.

Подснежники долго стояли у нас на окне, а потом мы их, кажется, засушили между страницами каких-то книжек. Конечно, скептики скажут о совпадении, но ведь случайности не случайны, как мы уже успели

уяснить раньше. И я, право, не знаю, тот ли это был цветок, что я недавно нашла. Точно я сказать не могу, а придумывать не хочу. Но вполне очевидно, что этот крохотный, беззащитный подснежник каждую весну всевечным своим появлением знаменует обновление и неотвратимую победу добра над злом. Каждую весну он, ещё совсем юный и болезненно бледный, словно спешит нам сказать: «Вот я. И я говорю вам, что весна пришла, и нет больше ни мрака, ни холода, ни смерти. Есть только вечная весна и вечное блаженство. Я умираю, но говорю вам это, чтобы вы радовались, как дети. И я умираю, потому что поспешил, потому что ещё не в силах терпеть до поры не отступающую стужу, но не жалею об этом».

Пригоршни

Как ходил же грешный человек, он по белому свету,

Приступили к грешну человеку к яму добрые люди:

«Что тебе надо, грешный человек, ты злата, ты серебра?»

Ти злата, ти серебра, ти золотого одеяния?»

Ничего не надо грешну человеку: ни злата, ни серебра,

Ни злата, ни серебра, ни золотого одеяния.

Только надо грешну человеку один сажень землики,

Один сажень, да сажень земельки, да и четыре досыки.

Духовный стих

В селе Кособоково тянулись последние угрюмые дни угасающей осени. Дни не шли, не бежали, а именно стояли, бесконечно тянулись, как неспешная, сонная, подмерзающая река. Небо серело, потухало и хмурилось, лишь иногда нахлобучиваясь, словно тяжёлой меховой шапкой, снеговыми тучами. Тогда костлявая чернеющая нагота деревьев вдруг прикрывалась редкими, робкими снежными хлопьями; покрывалась несмелым снегом и пожухлая трава, и дальний пустующий выпас, и стайка пузатых, нахлывшихся стожков сена, и темные крыши кособоковских домиков, и вся деревня тогда становилась игрушечной, похожей на праздничную печеную плюшку, посыпанную белым сахаром. Но проходил час-другой, кто-то слизывал сахар, и деревня опять начинала приунывать и хандрить. Все буйные краски октября безнадежно поблекли и выцвели, как на старой фотокарточке, долго пролежавшей на солнце, оставив лишь бордово-красные рябиновые ягоды одиноко сиять и переливаться в промозглом сером дымчатом воздухе. Это была пора безвременья и забвения. У каждого времени года был свой цвет: у зимы — сияющий, ослепительно-белый, отдающий перламутром на солнце, у весны — бледный мятный, нежно-зелёный, у лета — глубокий зелёный, от изумрудного до малахитового, у зрелой осени — жёлтый, рыжий, бордовый. А у загостившегося ноября своего

цвета не было. Прошла пора листопадных золотых дождей, давно пролетела последняя, застывшая в воздухе серебристая паутинка, а снег всё не покрывал голую землю. Старики почему-то говорили, что это — плохая примета, если снег не ложится долго.

На деревню опускались глубокие сумерки. У Нюры на душе было зябко и беспокойно. Она по привычке суежилась и бегала, собирая ужин на стол, но каждый раз от глухого удара в окно мечущегося ветра она вздрагивала, и ей казалось, что ветер этот завывает не где-то за домом, а прямо в ней, холодя и переворачивая её робкое нутро.

— Уж больно ты смутная стала, Нюрка, — вдруг очнулся от молчания Степан, Нюркин муж, подсаживаясь за накрытый стол, — сохнешь да блекнешь вся.

Нюра хотела было сказать, что не от чего ей было расцветать, да почему-то промолчала. По деревне уже которую неделю катилась волна раскулачивания. Вчера приходили к Мещеряковым, Ильинским и Кручновым, а что будет сегодня, никто не знал. В доме было жарко натоплено, и оттого казалось, что терпкий запах сушившихся грибов и яблок стал ещё сильнее и ошутимее. В окно стал постукивать дождь, мешавшийся с редкой снежной крупой, и Нюра вдруг подумала, что их дом, как маленькая лодка, скользящая по речке в непроглядной темноте с зажженным огоньком, выстоит и выплывет. Вскоре совсем стемнело, деревня как-то затихла, затаилась, смолкла, как зверь, залегший от погони, и только желтоватый квадратик окна и трепещущий силуэт женщины, снующей то туда, то сюда, выдавали неумолимое присутствие жизни.

Все мысли, скорые движения ловких Нюркиных рук, убирающих со стола, и даже, казалось, мерное дыхание были прерваны коротким уверенным стуком в дверь. И Нюра, и Степан знали, что этот стук мог означать только одно. На какие-то секунды ей показалось, что сердце её работает так громко, что его слышит не только она, но и Степан, и те, кто стоит за дверью, что и пришли-то они на этот непомерный бой, исходивший из её груди. Так простояв в оцепенении несколько секунд, они вдруг ожили, очнулись: знакомый голос бабы Веры, соседки, настойчиво потребовавший отпереть дверь, как по волшебному заклинанию, снял ужас оцепенения.

— Померли вы тут, что ли, — как-то уж очень невесело пошутила запыхавшаяся и озирающаяся по сторонам баба Вера.

Но и от этой нелепой шутки Нюрино лицо вдруг просияло, на миг ей показалось, что если к ним в гости зашла бабка Вера и шутит вот так, то ничего не случится, жить можно.

— Да помрёшь с тобой, стучаться так. Какие же добрые люди по ночам в гости ходят, — насупившись и даже не посмотрев на раскрасневшееся от быстрой ходьбы лицо бабки Веры, ответил Степан. — Чего пришла-то?

И вдруг всё оборвалось внутри Нюрки, всё зазеленело и поплыло.

— Так это, стало быть, они идут, — выпалила бабка Вера своим тоненьким голоском, так не подходившим к её крепкому телу, многозначительно прищмыгнула носом и, подобрав полы длинной коричневой юбки, неуклюже захромала домой.

Как растревоженные муравьи, бестолково сновали они по маленькой, едва освещенной горнице в инстинктивной, горячечной надежде что-то перепрятать. Нервным молниеносным движением сильных рук Нюра схватила самое дорогое, что у ней было — новенькую швейную машинку «Зингер», и в лихорадочном запале подстреленного зверя, потерявшего чутьё на какую бы то ни было боль и тяжесть, потащила во двор и, подняв высоко над плетнем, бросила в соседский огород. Там живет приезжая учительница, совершенно неизвестная, но, говорят, вроде порядочная — авось не выдаст тайник.

Как ни готовься к любой беде, а она всегда приходит слишком неожиданно, застаёт врасплох. И в этом есть что-то причудливое и похожее на скоростижную смерть: ты, как есть, в чем есть, в том и предстаешь. По комнате ходили четверо твердой, подчеркнутой уверенной поступью. Вдруг один из мужиков схватил за чем-то Степкин тулуп. Степка очнулся внезапно от оцепенения и, вздрогнув, узнал лицо старого дружка по кличке Сапोजок, выхваченное из полумрака желтоватым дребезжащим неверным светом.

— Сапोजок, ты ли это? — изумился Степан. — Да на кой тебе мой тулуп-то?

— Был Сапожком, а сейчас Савелием Никитичем извольте величать. Эх, вы, хозяева-искуплаторы, — сказал он и, крикнув, надел тулуп на свои широкие плечи.

На не очень-то фигуристом и, прямо сказать, тщедушном Степане тулуп сидел как влитой, а на распушем, грузном Сапожке он, конечно, заскрипел и лопнул по швам. Сапожок загоготал, рванул рукава и, причмокнув, сказал, что так даже лучше.

Степан смотрел на свой дом просто, отчужденно и равнодушно, как смотрят на мертвое тело некогда любимого человека, ещё не в состоянии понять, что это тело уже принадлежит не тебе, а земле и миру. Нюрка, конечно, всхлипывала.

И они шли. За это время, казалось, с деревьев, огорода и поля кто-то окончательно смыл краску, оставив лишь коричневатую сепию, как бы стыдящуюся того, что она, поблекшая, стоит на самом видном месте. Набухшие, белесые, едва различимые в темноте тучи роились высоко и все не могли разрыдаться настоящим снегом.

Все страсти человеческие имеют свойство когда-нибудь улечься. Душа Нюрина постепенно успокаивалась, замечая неуклонно возникающие всполохи воспоминаний о пережитом постоянными ежеднев-

ными хлопотами. Но однажды ей опять стало совсем невмоготу.

— Стёп, а Степ, ну, пойдём сходим в наш дом, семечек с чердака наберём, хоть какая-то, а еда.

— Поймают же — под суд сдадут.

— Да не поймают, ночью пойдём.

— Ну, пошли, — сказал Степан и грустно вздохнул.

Они крались, как воры, в собственный дом. Внезапно и не вовремя повалил снег, предательски обнажая следы. Снег шёл крупный, легкий, настоящий и совсем не похожий на жалкий ноябрьский. Нюра гладила стены дома кончиками побагровевших пальцев, как гладят головки родных детей.

— Ты чего, — вдруг встрепенулся Степан, — стены-то шупаешь?

— Да так, в темноте боюсь упасть.

Они пробрались на чердак и, не выдержав, прежде чем набить карманы, стали есть семечки прямо там, из пригоршней. Они сидели, пригнувшись, несколько минут, жевали, переглядывались, и им казалось тогда, что эти высушенные семечки были самым вкусным, что они вообще ели. И им казалось, что всё, что с ними приключилось, странный, страшный сон, грустный анекдот, досадная нелепость, что сейчас они спустятся вниз, затеплят огонь в печи и заживут по-прежнему, как раньше.

Всё оборвалось, всё погибло — во дворе они услышали предательское «скрип-скрип». Они затаились, залегли среди семечек и стали выжидать. Сначала всё было тихо, но потом «скрип-скрип» повторился, а потом ещё и ещё. Кто-то расхаживал туда и сюда. Всё было кончено: их выследили. И теперь кто-то выжидал внизу, чтобы взять с поличным. Что было делать, Степан решительно не знал. И только две мысли, как язык раскачанного колокола, ударились то в один, то в другой висок, и каждый раз ему казалось, что удар похож на выстрел: остаться здесь и дожидаться своей участи или сдать на милость поимщику, а там и пойти под суд, а там — и высшая мера. Переведа дух, он всё же решил, что лучше, наверное, сдать. Ведь хоть здесь он не будет трусом. Степан рванулся вперед, дополз до чердачного окна, чтобы краем глаза взглянуть на поимщика. И вдруг расхохотался страшным, зловещим, вымученным смехом человека, потерявшего рассудок. Нюра вздрогнула и поняла, что самое плохое, чего она боялась, уже случилось. Она пыталась ухватить Степку за штанину, но его уже было не удержать, и он нёсся вниз. Нюра, задыхаясь и просыпая семечки, спотыкалась и спешила за ним.

— Гнедко, дьявол ты этакий, как ты дорогу сюда нашёл, дурачок? — трепал в следующую минуту морду своего экспроприированного коня Степан. — Ты посмотри, до чего он умный! А я-то как испугался, думал, меня повязать пришли, а это — Гнедко!

А Гнедко и вправду смотрел на Степана умными глазами, что с непривычки было даже как-то страшно, и казалось, что если бы у Гнедко был не лошадиный язык, а человеческий, то и он бы сказал: «Здорóво, Степан! Прости, что напугал. Дорогу всегда помнил. Да я ничего, но заскучал малёхо».

Нюра бессильно улыбалась. Откуда-то из-за туч прорезался толстый блестящий серпик. Трясущими руками Нюра хватала горько-кислые рябиновые ягоды, клала в рот и нечаянно давила отдельные пальцами. Капли падали на свежий снег, оставляя багряные точки. Она обернулась на Степкины рыдания. Он отчаянно обнимал Гнедковую морду.

Никогда они не были так бедны. Никогда не были так богаты.

Леонид Мерзликин

(1935–1995)

Купава

Поэма

I

Осыпаются зори,
Лепестки, лепестки,
А у нас на заборе
Потерялись носки.
Ищет мать спозаранку:
— Тыфу ты, снова вяжи! —
Кто-то видел цыганку
Возле нашей межи.
Роем землю на бане
Чугунихин Трезор.
— Эй, хозяйка! — Цыгане
К нам заходят во двор.
Дорогие шнуровки,
Широченный подол.
И на длинной веревке
Лупоглазый козел.
— Положить бы нам шмутки,
Мы спокойный народ. —
Попросились на сутки,
Поселились на год.
Помню, маме цыганка
Ворожила тогда:
Дескать, радость — беглянка,
Дескать, деньги — вода.
Голос вкрадчиво ёкал:
— Ой, товарка, гляди! —
И мигала мне: — Сокол,
Что-то ждёт впереди.

Хочешь, карты вот эти
Я тебе разложу?
Есть Купава на свете,
Кто она — не скажу.
Где-то плещется речка,
В ней давно-предавно
У Купавы колечко
Потонуло на дно.
Трехпудовая глыба
На колечке лежит,
И усатая рыба
День и ночь сторожит...

II

Я к соседу Бубнову
Забегал иногда:
— А мне сшили обнову!
Он прищурится: — М-да...
Скрючит, выпрямит палец.
— Подойди, покажись.
Ну, теперь ты красавец.
Не малина, а жись!
Сядем мы на крылечко,
Он закурит «Прибой»,
Голубое колечко
Поплывет над губой.
Я гляжу на колечко,
А в глухой стороне
Где-то плещется речка,
Там колечко на дне.
Над водою осоты.
Над водою стрижи.
— Дядь Никита?
— Чего ты?
— Дядь Никита, скажи,
Кто такая Купава?
Ты ведь знаешь ее?
Плянет сбоку лукаво:
— Ты опять за свое.
Это шутка такая.
Осторожнее с ней. —
И замолкнет, снижая
Навесь темных бровей.
Где репейник витками
Повитель обвила,
С голубыми глазами
Чугуниха прошла.
Подплыла, будто пава,
Оперлась на забор:
— Вы опять про Купаву
Завели разговор?
Так, бывало, корову
Моя бабка звала. —
А я знаю — к Бубнову
Чугуниха пришла.

Полушалок к затылку,
Волос русский, счерна,
Мне когда-то чернилку
Подарила она.
Я чернилку на части
Разобью о пенек.
Лишь в окошках зазастит —
Приготовлю мешок.
Положу с полотенцем
Я в мешок сухари,
Осторожно по сенцам
Проберусь до двери.
Холодком недомашним
Обдаст на лугу.
Через яр, через пашни
К полустанку сбегу.
От вагона на время
Отойдет проводник,
Я мешок свой в беремя
И по тамбуру — шмыг!
Сосны слева и справа,
Стукотит колея.
Где ж ты, где ж ты, Купава,
Потаенка моя?

III

Перед жатвою в будни,
Если дождь не идет,
У сельмага с полудня
Собирался народ.
Восседали хозяйки
Под висячим замком.
Руки, словно две сайки,
По-над грудью крестом.
Начиналось с погудки,
Просто так, со смешка.
— Это чо? От Анютки
Кто-то свел мужика?
— Мужики бы рожали —
Вот хватили б забот.
Но про ситец и шали
Кто-то вдруг намекнет.
И пойдет:
— Да куда там.
— Жди-пожди.
— Как не так.
— Лады заплату к заплатам,
Прикрывай кое-как.
Вон доха, только джоже
Дорогая она,
Я б взяла, да у мужа
Дыровата мошна...
Скворчик прыгал и тенькал
По сухим горбылям.
Я у входа частенько

Видел девушку там.
Пахли вешним ополем
Дорогие духи.
Знал путем я окольным.
Что у ней женихи.
Был в годах я моложе
И не хват по селу,
Приторочила все же
К своему подолу.
И ходил я за нею,
И стерег у оград.
Поглядит — леденею
От макушки до пят.
Беспортошный молодчик,
Я старался всерьез,
Но приехал к ней летчик,
Погостил и увез.

IV

Не одна над Ключами
Откачалась гроза.
Стали сниться ночами
Мне Купавьи глаза.
За деревней на сходке
Помахала венком.
Довела до сухотки
Кружевным рукавом.
На вечерке в стакане
Загустила вино,
А однажды вдруг в бане
Засветила окно.
Мягко хлопает веник,
Пар валит на межу.
Я сгибаю колени.
Я припал. Я гляжу.
Косы, девичьи косы
Льются, грудь полоня,
И глаза, будто осы,
С лету жалят меня...
Возле клуба качели,
Возле клуба кусты.
Две девчонки летели
На траву с высоты.
От восторга визжали,
Уцепясь в бечеву,
И гудели их шали —
Только тень на траву!
Только вздернуты губки
В лихорадном жару.
Только задраны юбки
На холодном ветру.
Дождь. И листья отвесней
Сыплет клен под забор.
Одинокою песней
Закликаешь ты в бор.

Кочка, пень да канава.
Я бегу. Я бреду.
Что ж ты смолкла, Купава?
Я никак не найду!..

V

Отпирайте засовы!
Выходите плясать!
Это братья Бубновы
Загуляли опять.
Снова сделали бражку
Из колхозной свеклы.
Пиджаки нараспашку
От полы до полы.
— Сбарышуем на сене,
Ведь не зря конюха! —
Грудь у лошади в пене,
А бока — как меха.
— К Чугунихе, к Андревне,
Слышь, Никит, подвезти? —
Мужиков на деревне —
Хоть шаром покати.
Женишилась по танцам,
Нос драла мелюзга.
— Чо! Цыганочку сбацим?
Сбацим, чо ли?
— Ага.
И на круг деревянный
Шел мальчишка винтом
Не тверезый, не пьяный,
Только так, под хмельком.
— Моя милка — бутылка.
Разопью, разобью! —
Сдернет кепку с затылка
И швырнет на скамью.
Лет в семнадцать мальчишки
Колесили вприсест,
У калиток под мышки
Брали чых-то невест.
Самый бойкий, целуя
Ту, что старше его,
Вдруг шептал:
— А пляшу я
Ничего?
— Ничего...

VI

Не лачужка-ляпуха —
Крытый шифером дом.
Только жаль, молодуха
Не пригнездилась в нем.
Пол под охрой лоснится,
Но от жениных пят
Никогда половицы

По утрам не скрипят.
 На полочке посуда,
 Тишина по углам.
 У Никиты причуда —
 Пристраслился к утям.
 Смастерил им клетушку
 И готов допоздна
 Самолично в кормушку
 Подсыпать им зерна.
 Брат заглянет и ахнет.
 Щелкнет пальцами: — Кыш!
 А Андревна-то чахнет.
 Попроведал бы. Слышь?
 Старший выбычит шею,
 В темных жилах рука.
 — Ты бы с бабой своею
 Управлялся пока.
 Братья в кухню заходят,
 Грязный след на полу,
 И плечами поводят,
 И садятся к столу.
 Мать грибы им подносит,
 Братья спорят не в лад,
 И «Прибой»-папиросы
 То и дело смолят.
 Старший дернет губою:
 — Кто мы? Что мы? Ха-ха!
 Конюха мы с тобою?
 Конюха!
 — Конюха...
 — Ну так знай, что Бубновы
 Не для этого. Да!
 Вон с порога подковы
 Оторву — и айда.
 Младший кашляет глухо:
 — Будь он проклят, табак!
 От земли мы, братуха,
 Без нее нам никак...

VII

Тюк! — и с клювом раскрытым
 Головенки крякух.
 Пролетев над корытом,
 В снег ложатся, как в пух.
 Тюк! — и красные крапки
 Облепили обух.
 Тюк! — и дрыгают лапки
 У последних крякух.
 Что-то дядька Никита
 Вроде злой, как с цепи.
 Бросил уток в корыто,
 Крикнул:
 — Мать, ощипи! —
 А под вечер гулянка.
 — Ну-ка! Я тебе дам! —

Сыпанула тальянка
 Вперебор по ладам.
 И сказали мне дома,
 Что сосед наш всерьез
 Оставляет хоромы,
 Покидает колхоз.
 Запотелые стекла,
 Крынки, миски да стол.
 С вилки — красная свекла,
 С ложки — кислый рассол.
 В мокрых складках рубаха
 И ремень по плечу.
 — На утятинки, сваха!
 Сам бы ел — не хочу.
 Пальцы в свекле, в крови ли
 По ладам семят:
 — Были ути, да сплыли,
 Не дождались утят.
 Пальцы пляшут с разбега:
 — Эх, наддай на баса!
 Пропадай ты, телега,
 В полтора колеса.
 Мне б тесать по граниту,
 Мне бы класть кирпичи.
 Нет уж, сваха, Никиту
 Ты оставь. Помолчи.

VIII

Дверь гвоздями забита,
 В окнах доски крестом.
 Уезжал наш Никита
 На такси грузовом.
 Подозвал меня:
 — Слышь-ка!
 Подойди. —
 Подхожу.
 — Правда, ты хоть мальчишка,
 Ну да ладно, скажу.
 Справку взял в сельсовете,
 Жму в чужие края.
 Есть Купава на свете,
 И твоя, и моя... —
 Смолк на время Никита,
 А потом: — Вот беда,
 Направлять-то копыта
 Я не знаю куда.
 Ведь она без приметы,
 Я не видел ее...
 И не верь ты в наветы!
 Дескать, нету. Вранье!
 Прикипела, я чую.
 Тут вот, где-то в груди.
 Ты за речку за Чую
 К Чугунихе сходи.
 Ты скажи, не такой уж

Я подлец. Пусть поймет.
 Без любви не построишь
 Жись хорошую... Вот...
 Над кривою избушкой
 Раскудлатился бор.
 Чугуниха с подружкой
 Пили сладкий кагор.
 Отодвинула шторы,
 Посмотрела в окно.
 На печальной вечерке
 И вино не вино.
 Где ты кружишься, счастье?
 На какой ты гульбе?
 Бьются рюмки на части —
 Брызголет по избе.
 Провожали мы лихо,
 Так, что трясся вокзал.
 Я потом Чугунихе
 Все как есть рассказал.
 Рассмеялась:
 — Чего там! —
 Только с этого дня
 Невзлюбила за что-то
 Чугуниха меня.

IX

Будто волчья отрава,
 Хоть лечи не лечи,
 Мою душу Купава
 Отравила в ночи.
 Торопливою горстью
 Сквозь колючий озноб
 Я с веселою злостью
 Пил отраву взахлеб.
 Только что же такое?
 Как бывает в испуг,
 Под рукой ретивое
 Захолонуло вдруг:
 Прощевайте, повети,
 Лопотуха-репей...
 Я ушел на рассвете
 За Купавой своей.
 Все, что спето не спето.
 Что заклекло в груди,
 Васильковое лето,
 Не буди, не буди.
 По забытому следу,
 По степи заревой
 Не зови, не приеду,
 Не вернусь я домой.
 Ой ты, ягода-семя,
 Ой, клубника моя,
 В беспокойное время
 Зрела ты у ручья!
 За слезинку скупую,

Что упала в пути,
 За неверу слепую,
 Уголок мой, прости.
 Вздох кустатой полыни,
 Мягкий клевер в стогу,
 Перед вами поныне
 Я в огромном долгу.
 Заклинаний не зная,
 Я чужую беду,
 Потому что чужая,
 На бобах разведу.
 А своя — как отрава,
 Хоть лечи не лечи,
 Мою душу Купава
 Отравила в ночи...

X

Пишет мать, что осели
 Все столбы в городье,
 Что на прошлой неделе
 Побелила в избе,
 Что погода теплеет
 И что скоро опять
 Огород подоспеет —
 Надо грядки копать.
 Под колхозный коровник
 Тянут с линии ток.
 У соседки Петровны
 Потерялся телок.
 А какой-то наемни
 Из приезжих врачей
 Дуть на трубах на медных
 Стал учить духачей.
 Пишет мать, что хотя бы
 На чужой стороне
 Ожениться пора бы,
 Шелопутному, мне.
 Ты послушай-ка, мама,
 Погоди, не шерсти.
 Не с того ль я упрямый,
 Что отцовской кости?
 Я не мот, не шалава,
 Только знаю одно:
 Уронила Купава
 Перстенечек на дно.
 Обалделый, без помни,
 Я иду наугад.
 Обомшелые корни
 Вверх копылкой торчат.
 Всё мне мало и мало,
 Всё иду и иду.
 Не с того ли я шалый,
 Что последний в роду?
 Не беда, что поскребок.
 Виснет чуб смоляной.

Мое счастье бок о бок,
Мое счастье со мной.
Сдерну кепку и оземь,
Пусть порой нелегко.
И колыхнется озимь
Далеко-далеко...

XI

Ах, не ночь ли купала
По озерам крыло?
Не всплывала ль Купава
Из воды тяжело?
Не с нее ли росинка
Упадала, звеня?
Не тогда ли кувшинка
Полонила меня?
Желтый цвет — на измену.
Я артачился: — Пусть!
До сих пор я не дену
Никуда свою грусть.
Звезды пыхали ярко.
Ах, не мне ли, не мне ль
В ночь купальную жарко
Ворожил коростель?
Не в кафтане ль с иголки
Я на яр выходил?
Не княжну ль из светелки
Я тайком уводил?
Темень ухала сычья,
Обступали леса.
Не меня ли девичья
Зазнобила краса?
Сероглазая пава,
По оплечью платок.
Ах, купава, купава,
На измену цветок!
Я не верю в поверья.
Но зачем же тогда
Мне утиные перья
Приносила вода,
И плескались наяды
У прибрежных осок,
И являл свои клады,
Разверзаясь, песок,
И в просторах продутых
Упадала звезда?..
Много после взойдут их.
Только та — никогда!

XII

Бросить сборы, ей-богу,
И с одним вещмешком
Завтра утром в дорогу
С вещмешком да пешком.

То ли дело, ребятаки,
По июльской степи.
Знай подмазывай пятки
Да гляделки лупи!
Где-нибудь за поселком
Я сверну с большака
И лесным уж проселком
Припушу босяка.
В заозерье, сутулясь,
Кислый шавель сорву,
Пожую и зажмурюсь
Так, что «видно Москву».
Вспомню давнее детство,
Край, что дорог и мил,
Где глаза я в наследство
От отца получил...
Ах, скорее, скорее,
Ах, скорее туда,
Где росой тяжелеет
Губошлеп-лебеда,
Где мосточки как дуги,
Где берез босота,
Где моя по округе
Голубынь-красота!
Вот и наша оградка.
Вроде та и не та.
В избу дверь для порядка
Изнутри заперта.
Постучу осторожно,
Встретит мама в слезах,
Плянет снизу тревожно:
«Что ж ты этак зачах?»
Обниму я за плечи.
В горле жаркий комок.
— Мам, не плачь хоть при встрече.
— Я ж от счастья, сынок...

1962

Владимир Башунов (1946–2005)

Боюсь ли я суда чужого?
Нет, не боюсь. Боюсь ли я,
что излукавленное слово
ударит пострашней ружья?
Боюсь ли недопониманья,
когда вблизи — чужей, чем врозь?
Кривых усмешек, толкованья
заветной мысли вкривь и вкось?
Нет, не боюсь. — Перебоюсь,
перебесился, перемог

и внутреннего постояльца
надежно спрятал под замок.
Его не тронут облученья
хулою ли, хвалою, но
душа не знает облеченья,
глядит с усиьем и темно.
«А что ты хочешь? Возраст все же...»
Но возраст ли? — Вдруг поушли
мои друзья — мои сторожи:
пол-юности лежит в земли,
а кто притворней (и моложе),
тот за спиною корчит рожи —
что с них? они на том взрослые.
Жалеть себя — себе дороже.
Слабеет крепь. — Но возраст ли?

Снег

В омутах зацвела, затомилась вода.
Настоялся туман у горы.
Скоро белые-белые холода
Обойдут и поля, и дворы.
Позабуду я имя твое повторять,
Потянусь к очагу и жилью.
Скоро снег упадет. И сойдет благодать
На притихшую душу мою.
И сойдет благодать на обеты мои,
И сойдет темнота на лицо.
Скоро снег упадет на следы, на ручьи,
На скрипучее наше крыльцо.
Станет ветер насмешливо листья срывать
И качать флюгера на избе.
Стану я говорить пустяки и скрывать
Драгоценную грусть о тебе.
И никто не поймет, только мама вздохнет.
Я скажу ей, что все это вздор.
Просто скоро зима. Просто снег упадет.
Просто нравится мне разговор.

И вылетит из лесу птица,
и в речке ведёрко плеснёт,
и кто-то попросит напиток,
и кто-то воды поднесёт.
В апреле, в капли, в июне,
в дожде несусветном, в зиме...
Как жаль, что кончается юность
на этой хорошей земле.
А всё же во мне не убудет
волненья, заботы, имён.
Над утренней родиной будет
катиться малиновый звон.
И кто же нас гонит, ей-богу,
зачем так недолго гостим?

Прощай!
Одари на дорогу
несмелым подарком своим.
Хвоинкой, копытным ли следом,
перо ли на счастье оставь.
Тревожным и праздничным светом
сиять мою память заставь.
Гордиться тобою, склониться
На горький родимый порог.
...И вылетит из лесу птица
и наземь уронит перо.

Иван Жданов
(р. 1948)

Крещение

Душа идет на нет, и небо убывает,
и вот уже меж звезд зажата пятерня.
О, как стряхнуть бы их! Меня никто не знает.
Меня как будто нет. Никто не ждет меня.
Торопятся часы и падают со стуком.
Перевернуть бы дом — да не нащупать дна.
Меня как будто нет. Мой слух ушел за звуком,
но звук пропал в ночи, лишая время сна.
Задрал бы он его, как волка на охоте,
и в сердце бы вонзил кровавые персты.
Но звук сошел на нет. И вот на ровной ноте
он держится в тени, в провале пустоты.
Петляет листопад, втирается под кожу.
Такая тьма кругом, что век не разожмешь.
Нащупать бы себя. Я слухом ночь тревожу,
но, нет, притихла ночь, не верит ни на грош.
И где-то на земле до моего рожденья,
до крика моего в мое дыханье вник
послушный листопад, уже мое спасенье.
Меня на свете нет. Он знает: будет крик.
Не плещется вода, как будто к разговорам
полузаснувших рыб прислушиваясь, и
то льется сквозь меня немеющим задором,
то пальцами грозит глухонемой крови.
Течет во мне река, как кровь глухонемая.
Свершается обряд — в ней крестят листопад,
и он летит на слух, еще не сознавая,
что слух сожжет его и не вернет назад.

Восхождение

Стоит шагнуть — попадешь на вершину иглы,
впившейся в карту неведомой местности, где
вместо укола — родник, вырываясь из мглы,

жгучий кустарник к своей подгоняет воде.
 Дальше, вокруг родника, деревень алтари,
 чад бытия и пшеничного зноя дымы.
 Там начинается воля избытком зари,
 там обрывается карта в преддверии тьмы.
 Все это можно любить, не боясь потерять,
 не потому ли, что картой поверить нельзя
 эту безмерную, эту незримую пядь,
 что воскресает, привычному сердцу грозя.
 Здесь, что ни пядь под стопой, то вершина и та
 обетованная ширь, от которой и свету темно:
 никнет гора или рушится в ней высота,
 или укол простирает на карте пятно.
 Это — твое восхождение, в котором возник
 облик горы, превозмогшей себя навсегда.
 Это Георгий своим отворяет копьем
 пленный источник, питающий падшую плоть.
 Отблеском битвы, как соль, проступает на нем
 то, что тебя ни на миг не смогло побороть.
 Стало быть, есть красота, пред которой в долгу
 только она лишь сама как прибежище чар.
 Всадник, заветную цель отдающий врагу,
 непобедим, ибо призван растрчивать дар.
 Здесь и теперь в этом времени вечности нет,
 если, сражаясь, себя разрушает оно,
 если уходит в песок, не стесняясь примет,
 чуждое всем и для всех безупречно равно.
 Не потому ли нацеленный в сердце укол
 всей родословной своей воскресает в тебе,
 взвесью цветов заливая пустующий дол,
 вестью племен отзываясь в пропащей судьбе.
 Это нельзя уберечь и нельзя утаить,
 не промотав немоту на избыток вестей.
 Значит, шагнуть — это свежий родник отворить,
 значит, пойти — это стать мироколицей всей.

Возвращение

Это на слабый стук, переболевший в нем,
 окна вспыхнули разом предубежденным жаром,
 и как будто сразу взлетел над крышей дом,
 деревянную плоть оставляя задаром.
 Где бы он ни был, тайно светила ему
 золотая скоба от некрашеной двери,
 а теперь он ждет, прогибая глазами тьму,
 посвященный итогу в испуганной вере.
 Ждет хотя бы ответа в конце пути,
 позолочен по локоть как будто некстати
 холодком скобы, зажатой в горсти,
 на пределе надежды, близкой к утрате.
 Выйдет мать на крыльцо, и в знакомом «Кто?»
 отзовется облик в ответом пальто,
 отмелькавшем еще в довоенных зимах.
 Грянет эхо обид, неутоленных, мнимых,
 мутью повинных дней, остепеняясь в ничто.

Может, теперь и впрямь дело совсем табак,
 блудный сын, говорят, возвращался не так:
 несказанно, как дождь, не обученный плачу,
 словно с долгов своих смог получить он сдачу
 в виде воскресших дней, — это такой пустяк.
 Благословен, чей путь ясен и прост с утра,
 кто не теряет затылком своим из виду
 цель возвращенья и облаков номера
 помнит среди примет, знавших его обиду!
 Что воскресенье? — это такой зазор,
 место, где места нет, что-то из тех укрытий,
 что и ножны для рек или стойла для гор,
 вырванных навсегда из череды событий.
 Знать бы, в каком краю будет поставлен дом
 тот же, каким он был при роковом уходе,
 можно было б к нему перенести тайком
 то, что растратить нельзя в нежити и свободе.

Пустая телега уже позади,
 и сброшена сбруя с тебя, и в груди
 остывшие угли надежды.
 Ты вынут из бега, как тень, посреди
 пустой лошадиной одежды.
 Таким ты явился сюда, на простор
 степей распростертых, и, словно в костер,
 был брошен в веление бега.
 Таким ты уходишь отсюда с тех пор,
 как в ночь укатила телега.
 А там, за телегой, к себе самому
 буланое детство уходит во тьму,
 где бродит табун вверх ногами
 и плачет кобыла в метельном дыму,
 к тебе прикасаясь губами.
 Небесный табун шелестит, как вода,
 с рассветом приблизятся горы, когда
 трава в небесах заклубится
 и тихо над миром повиснет звезда
 со лба молодой кобылицы.

Мороз в конце зимы трясет сухой гербарий
 и гонит по стеклу безмолвный шум травы,
 и млечные стволы хрипят в его пожаре,
 на прорези пустот накладывая швы.
 Мороз в конце зимы берет немую спицу
 и чертит на стекле окошка моего:
 то выведет перо, но не покажет птицу,
 то нарисует мех и больше ничего.
 Что делать нам в стране, лишенной суесловья?
 По несколько веков там длится взмах ветвей.
 Мы смотрим сквозь себя, дыша его любовью,
 и кормим с рук своих его немых зверей.
 Мы входим в этот мир, не прогибая воду,
 горящие огни, как стебли, разводя.
 Там звезды, как ручьи, текут по небосводу

Генеральный**директор**

Олег Болдырев

Главный бухгалтер

Людмила Дьячкова

Художественный**редактор**

Татьяна Погудина

Цветоделение**и компьютерная****верстка**

Александр Муравенко

Заведующая**распространением**

Ирина Бродянская

Отпечатано

в АО «Красная Звезда»

123007, Россия, Москва,

Хорошёвское шоссе, 38

тел. +7(499) 762-63-02,

факс +7(495) 941-40-66

e-mail: kz@redstar.ru,

www.redstarprint.ru

Тираж 3 000 экз.

Уч.-изд. л. 10,0.

Заказ № 3275-2017

Адрес редакции:

Россия,

107078, Москва,

Новая Басманная, д. 19

Телефоны**редакции:**

8(499) 261-84-61

отдела распространения:

8(499) 261-95-87

Факс:

8(499) 261-49-29

E-mail:

roman-gazeta-1927@yandex.ru

Сайт:

www.roman-gazeta-1927.ru

Рукописи не рецензируются

и не возвращаются.

Отклоненные рукописи

сохраняются в течение года.

и тянется сквозь лед голодный гул дождя.
Пока слова и смех в беспечном
разговоре —
лишь повод для него, пока мы учим снег
падению с облаков, пока в древесном
хоре,
как лед, звенят шмели, пока вся жизнь
навек
вдруг входит в этот миг неведомой
тоскою,
и некуда идти, — что делать нам в плену
морозной тишины и в том глухом покое
безветренных лесов, клонящихся ко сну?

Прыщут склоны перезрелой глиной,
синева кристаллами сорит.
Дерево и тень его былинной
невозможной бабочкой парит.
Оттого-то и гора прозрачна,
словно духом возведенный скит.
Вряд ли возраст знает однозначно,
где ему приткнуться предстоит.
Здесь покой метрического круга,
словно эту местность с двух сторон
два врага, убив в бою друг друга,
видят как один и тот же сон.
Или ангел из последней пяди,
сунув руки в рукава креста,
черноту и жар воздуха
налагает на свои уста.
Узы братства — то цветок, то битва
в пересчете на сухой песок.
Не развяжешь македонской бритвой
малой смерти тонкий волосок.

Рук споткнувшейся Шамбалы взмах,
взмах отброшенной шторы —
степь произносит влюбленное «ах»,
и возникают горы.

Толкаясь локтями и воздух крестя
щепотами жалящей соли, —
как будто взыграло в утробе дитя
у пустопорожней неволи.
Со дна ли степного всплывает наряд
для хрупкой пасхальной скорлупки —
отсюда виднее всего Арарат,
он в клюве у тюркской голубки.
Затем и подробен по-детски обман
пространства в предвечном итоге,
что наспех стреноженный скифский
курган —
всего лишь карьер у дороги.
Он вывел кочевье ковчега вовне
из тьмы минерального теста.
И ангел-хранитель, назначенный мне,
не сдвинется с этого места.
Отсюда за мною он шел по пятам
по белому свету,
пока не предстало заветное «там»,
где прошлого нету.

Камень плывет в земле, здесь
или где-нибудь, —
скол золотых времен, сторож игры и толп,
но из-под ног твоих он вырывает путь
и отправляет вверх, чтобы горел как столб.
Я не блудил, как вор, воли своей не крал,
душу не проливал, словно в песок вино,
но подступает стыд, чтобы я только знал:
то, что снаружи крест, то изнутри окно.
Не разобьешь в щепу то, что нельзя унять,
и незнакомый свет взгляд опыляет твой,
и по корням цветов гонит и гонит вспять
цвет золотых времен будущих пред тобой.
Ближе, чем кровь, луна каждому
из землян,
и по числу людей множится лунный род.
Видишь: над головой улиц или полян
лунных пейзажей клин поднят,
как в перелет.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Б. КАРЛИН Литературное золото Алтая: история в лицах.....	1	Анатолий СОБОЛЕВ Звенит в ночи луна.....	44
		Такой длинный-длинный день.....	49
Георгий ГРЕБЕНЩИКОВ В детстве.....	3	Александр ПЕШКОВ Привал.....	56
Вячеслав ШИШКОВ На Бии.....	8	Павел ПОНОМАРЁВ Вениамин.....	65
Василий ШУКШИН Космос, нервная система и шмат сала.....	16	Галина БАТЮК Подснежники.....	67
Сураз.....	20	Пригоршни.....	70
Евгений ГУЩИН Тень стрекозы.....	28	Леонид МЕРЗЛИКИН Купава. Поэма.....	72
Георгий ЕГОРОВ Мишка.....	41	Владимир БАШУНОВ Стихи.....	77
		Иван ЖДАНОВ Стихи.....	78

Начало см. на 2 стр. обложки.

Ведущая тема творчества — события Гражданской войны в Сибири. Особенность прозы — документальность. Автор романов «Солона ты, земля!», «На земле живущим», повести «Крушение Рогова». На основе дневниковых записей написана «Книга о разведчиках» (по событиям Великой Отечественной войны), получившая высокую оценку В. П. Астафьева. За книгу документальных очерков о милиции (1982) удостоен диплома МВД и Союза писателей СССР. Заслуженный работник культуры России (1984). Член Союза писателей СССР (1967).

СОБОЛЕВ Анатолий Пантелеевич

(1926–1986)

Родился в селе Кытманово Алтайского края. Детство провел в селе Смоленское. Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации окончил Сибирский металлургический институт в Новокузнецке, затем учился на Высших литературных курсах в Москве.

Основные произведения: романы «Бушлат на вырост», «Награде не подлежит», «Якорей не бросать», повести «Тихий пост», «Какая-то станция», сборники рассказов «Пятьсот веселый», «А потом был мир». По произведениям А. П. Соболева поставлены художественные фильмы «Письмо из юности» (1971) и «“Посейдон” спешит на помощь» (1978). Член Союза писателей СССР (1964). Жил на Урале, в Перми, Калининграде, но родиной всегда считал Алтай.

ПЕШКОВ Александр Владимирович

(р. 1959)

Родился в селе Тальменка Алтайского края. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт. Публиковаться начал в 1987 году. Автор нескольких книг прозы. Сборники «Таежная вечерня» (2012) и «Ночные журавли» (2015) вышли в рамках краевого издательского конкурса. В 2009 году стал лауреатом Всероссийского литературного конкурса современной прозы им. В. И. Белова «Всё впереди». В 2013 году — лауреат литературной премии им. Г. Егорова. В 2016 году стал лауреатом Демидовской премии в номинации «Литература». С 2015 года — редактор отдела прозы журнала «Алтай». Член Союза писателей России (2015). Живет в Барнауле.

БАТЮК Галина Михайловна

(р. 1995)

Родилась в городе Барнауле. В настоящее время учится в Санкт-Петербургском государственном университете на историческом факультете. Живет в Санкт-Петербурге и Барнауле.

Дебютировала рассказом «Подснежники» в октябре 2015 года в журнале «Алтай». Рассказ «Пригоршни» занял 2-е место на Всероссийском студенческом конкурсе литературного творчества в номинации «Проза», организованном Министерством культуры РФ и Литературным институтом им. А. М. Горького.

ПОНОМАРЕВ Павел Васильевич

(р. 1984)

Родился в городе Рубцовске Алтайского края. Окончил Алтайскую педагогическую академию, магистратуру филологического факультета. Преподает русский язык и литературу в Алтайском краевом колледже культуры и искусств. Публиковался в журналах: «Урал», «Новая Юность», «Дальний Восток», «Сибирские огни».

ЖДАНОВ Иван Федорович

(р. 1948)

Родился в селе Тулатинка Чарышского района Алтайского края. Выпускник Барнаульского педагогического института. Член Союза писателей России. В 1975 году переехал в Москву. Публиковаться начал в 1967 году. В издательстве «Современник» в 1982 году вышла первая книга «Портрет».

Поэзию Ивана Жданова отличает усложненность поэтической речи и насыщенная метафоричность. Автор поэтических сборников «Неразменное небо» (1990), «Место земли» (1991), «Присутствие погасшего огня» (1993), «Уединенная мироколица» (2013) и др. Лауреат премии Андрея Белого, первый лауреат премии Аполлона Григорьева Академии русской современной словесности, лауреат литературно-кинематографической премии им. Арсения и Андрея Тарковских.

МЕРЗЛИКИН Леонид Семенович

(1935–1995)

Родился в селе Белоярском Первомайского района Алтайского края. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Жил и работал на Алтае. Член Союза писателей СССР (1965). Автор тринадцати поэтических книг, в том числе «Россия» (1965), «Таисья» (1967), «Облепиха-ягода» (1978), «Заря пылает» (1990) и др. Его именем названы улицы в Центральном районе Барнаула и в городе Новоалтайске. Лауреат краевой премии им. В. М. Шукшина (1988), муниципальной премии города Барнаула (1995), премии Демидовского фонда Алтайского края (1998).

БАШУНОВ Владимир Мефодьевич

(1946–2005)

Родился в таежном поселке Знаменка Турочакского района Горно-Алтайской автономной области. В 1970 году окончил филологический факультет Барнаульского государственного педагогического института, учился на Высших литературных курсах в Москве. Работал в Алтайском книжном издательстве. В 1990 году создал газету алтайских литераторов «Прямая речь». В 1994–1997 годах — главный редактор журнала «Алтай». Большую помощь поэт оказывал начинающим литераторам и литературным объединениям.

Как поэт дебютировал в 1963 году. Автор девятнадцати поэтических сборников, среди которых «Поляна» (1970), «Звезда утренняя, звезда вечерняя», «Жаль моя» (1988), «Авось» (2003) и др.

